Мой отец Соломон Михоэлс (Воспоминания о жизни и смерти)

Наталия Вовси — Михоэлс

SHOUT
SHARE
IT

- Мой отец Соломон Михоэлс
  -
  - ВСТУПЛЕНИЕ
  - БЛИЗНЕЦЫ
  - истоки
  - НАЧАЛО
  - ЗУСКИН — ПАРТНЕР, ДРУГ, БЛИЗНЕЦ
  - ДОМ НА СТАНКЕВИЧА
  - ТЕАТР. РАБОТА. КУЛИСЫ
  - «200. 000»
  - ФАЛЬК
  - ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕНИАМИНА Ш
  - ИСТОРИЯ АРХИВА
  - ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕАТРА ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ ГАСТРОЛЕЙ
  - ПЕРЕЦ МАРКИШ
  - ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
  - СМЕРТЬ МАМЫ
  - ДАЛЬНЕЙШИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
  - ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
  - «ЛИР»
  - АСЯ ПОТОЦКАЯ
  - СКРОМНОСТЬ
  - НАШИ БОЛЕЗНИ
  - ДЕНЬ В ТЕАТРЕ
  - БАБЕЛЬ
  - «СУЛАМИФЬ»
  - «РЕВИЗОР» ГОГОЛЯ
  - ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД
  - СХЕМАТИЗМ В ИСКУССТВЕ
  - «ТЕВЬЕ МОЛОЧНИК»
  - НОВАЯ ТЕМА
  - ЮБИЛЕЙ ГОСЕТА
  - РЕЖИССЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОТ'ЕЗД В ЛЕНИНГРАД
  - ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МИХОЭЛСА
  - СМЕРТЬ ЭЛИ
  - ЭТЕЛЕ КОВЕНСКАЯ
  - ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
  - ЭВАКУАЦИЯ
  - МОСКВА ШЕСТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ
  - В СВЕРДЛОВСКЕ
  - ТАШКЕНТ

- ТЕАТР ДЛЯ СЕБЯ
- ОТ'ЕЗД В АМЕРИКУ
- СНОВА В МОСКВЕ
- АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ
- ФРЕЙЛЕХС
- «… НЕ ЗАВЕРШЕН ТВОЙ ГРИМ, НО ОН В ВЕКАХ ПРОСЛАВЛЕН»

- notes
  - 1 ВТО — Всероссийское Театральное Общество.]
  - 2 Передонов — персонаж романа Ф. Сологуба» Мелкий бес», ставший именем нарицательным.
- comments
  - 1 Винавер — юрист, работник Красного креста.]

Мой отец Соломон Михоэлс
(Воспоминания о жизни и смерти)

Последняя фотография. Минск 11 января 1948 г.

Все права принадлежат автору.

ВСТУПЛЕНИЕ

У польского писателя Станислава — Ежи Леца есть такое изречение: «Каждый век имеет свое средневековье». Очевидно, каждый век имеет и свой Ренессанс. Однако, в двадцатом веке Ренессанс предшествовал средневековью, так как революции 1905 и 1917 годов нарушили историческую последовательность событий и, всколыхнув бог знает какие бездны, выплеснули на поверхность сотни талантов. Сколько великих писателей, художников, музыкантов, артистов возникло из недр революции, чтобы ею же быть повергнутыми в пропасть!

Русский Ренессанс XX века в первую очередь коснулся евреев. На мгновение став равноправными, они бурно проявили всю мощь своего таланта, и в мире зазвучали такие имена, как Мандельштам и Шагал, Бабель и Лисицкий, Эренбург и Татлин, и многие — многие, список которых можно продолжать до бесконечности.

Одним из чудес, вызванных революцией, был первый в мире Государственный Еврейский театр, возникший в 1919 году в Петрограде.Михоэлс писал тогда: «Мы бродили по просторным, холодным полупустым коридорам и не верилось, что с молниеносной быстротой спаяемся в одну семью, которая дышит одним желанием. Но это свершилось.

На улицах еще бушевала буря революции.И человеческие глаза и слишком человеческие души испуганно и растерянно метались в хаосе разрушения и суете становления… и в это самое время, когда миры трещали, гибли, заменялись новыми мирами, случилось одно, быть может, маленькое, но для нас, евреев, великое чудо родился Еврейский театр».

Первый в истории Государственный Еврейский театр родился на языке идиш. На языке И.— Л. Переца и Шолом — Алейхема, на языке героев восстаний гетто и партизанских лесов.Благодаря языку, единственно доступному подавляющей массе евреев России, театр, игравший на идиш, пользовался небывалой популярностью и любовью.

Почти двадцать лет мой отец — **С.** Михоэлс возглавлял этот театр.Он был мозгом, душой и нервом всей еврейской культуры России в сложную, мрачную эпоху» средневековья» двадцатого столетия.

Я хочу рассказать о Михоэлсе — человеке, о том Михоэлсе, каким он был дома и каким его мало кто знал. Однако, жизни вне театра, до определенной поры, ни у него, ни, соответственно, у нас не было. Поэтому даже самые мои первые воспоминания

связаны с театром.

Что? Вызывают на репетицию? Сейчас иду! И отец передает меня на руки маме. Я, конечно, реву. (Как, впрочем, всегда при разлуках с ним.)Папа стоит возле голландской печки, занимающей большую часть нашей семиметровой клетушки. Помню поворот головы и его голос, когда он откликается на зов.Позже я узнала, что магическое слово» репетиция» действовало безотказно, и я соглашалась его отпускать.Без этого слова слезам не было конца. И еще.

Мы с папой около дома в Чернышевском переулке На нем светлая фуражка, он держит оглобли моей коляски — немыслимого сооружения на двух высоченных колесах. Его кто-то окликает, он оборачивается, отпускает оглобли, коляска опрокидывается и я лечу головой вниз…

Это, пожалуй, самые ранние воспоминания, которые мне удается извлечь из своей памяти. И вся дальнейшая папой жизнь возникает обрывками, кусочками, часто не связанными между собой. Что и говорить. Не было у нас беззаботного розового детства с усадьбами, гувернантками, бархатными штанишками, добрыми нянями, пестрыми клумбами и мамой, поющей романсы, под аплодисменты восхищенных гостей. Всего этого не было Была тяжелая, полная нужды, лишений, горя и разлук жизнь с неповторимым и единственным, любимым и ни на кого не похожим отцом, жизнь, которую я бы ни на какую другую никогда не променяла.

Вспоминая детали нашей жизни, прожитой рядом отцом, я понимаю, как мало, в сущности, времени мы провели вместе. Произошло это по целому ряду при чин, о которых я в дальнейшем расскажу. Об одной из них, впрочем, упомяну сразу — я пишу о жизни отца, а дети, как известно, до определенного возраста в жизни родителей не участвуют. Наша же жизнь, в частности, сложилась так, что папа отсутствовал несколько месяцев в году, разъезжая с театром, а мы с мамой и сестрой всегда оставались в Москве.

Не осталось у нас и семейных легенд, любовно охраняемых бабушками. Обе бабушки умерли задолго до нашего рождения. И очень рано, когда мы были еще сов сем маленькими, умерла наша мама. Дневников я никогда не вела, а если бы и вела, вряд ли удалось сохранить их среди всех обысков и облав, которыми была отмечена наша эпоха. Отцу же некогда было предаваться воспоминаниям.

Каким-то образом уцелели воспоминания папиного брата — близнеца Хаима Вовси, или Ефейки, как мы его звали. Из этих воспоминаний и отдельных беспорядочных папиных рассказов,

складывается следующая картина его детства.

БЛИЗНЕЦЫ

Семья моего деда со стороны отца состояла из восьми сыновей и одной дочери. Старшему исполнилось десять лет, когда родились близнецы — Хаим и Шлема. Всю жизнь братья спорили, кто родился первым. Считалось, что Хаим появился на свет на полчаса раньше своего брата Шлемы, но Шлема старшим считал себя, так как буквально с первых шагов своей жизни, он оберегал брата, защищал его и, возможно, именно это определило на всю жизнь его ощущение Старшего, о котором он говорил. Но об этом позже.

По прихоти судьбы они родились в веселый еврейский праздник Пурим, и одному из них так и был отпущен дар актера, что на редкость соответствует легендарно — обрядовой сути этого праздника.Пока младшие братья посещали занятия в Хедере, глубоко и серьезно изучая Танах и его толкования, в семье произошло событие, надолго переполошившее многочисленных домочадцев. Старший брат Лейб, давно увлекавшийся театром, покинул отчий дом и» ушел в актеры». Можно себе представить, как строго осудили этот поступок в патриархальном еврейском семействе, где само слово» актер» произносилось шепотом, так как считалось греховным и неприличным.

—Я понимаю, врач или юрист — это гуманно, но актер?!— бушевал дед.

Понятно, что »уход» долго обсуждался всеми домашними. Тетушки (папа, в своих рассказах поминал их, почему-то, во множественном числе, хотя никого, кроме тети Ривки, насколько я знаю, у них не было), так вот, тетушки сокрушенно качали головами и» по секрету» передавали друг другу неизвестно откуда почерпнутые подробности этого сенсационного события.

Никто не обращал внимания на мальчика, который с невинным видом вечно крутился где-нибудь поблизости. А если и обращали, то гнали вон, чтоб не слушал разговоры старших. А он упирался, удивленно таращил глаза, и только обиженно подрагивала его нижняя, чуть выдвинутая вперед губа. Однако, все эти устрашающие рассказы не могли, видимо, оставить равнодушным маленького Шлемку. И вот, в день своего девятилетия, опять же в Пурим, он сыграл роль блудного сына в пьесе Грехи молодости», написанной им самим и им же поставленной. Попытаюсь вкратце изложить ее сюжет, со слов моего дяди Хаима.

Картина первая. На сцене столик и стул. На столике

несколько книг, тетрадей, чернильница, ручка с пером. На стуле сидит мальчик в коротких штанишках и произносит монолог о том, что на дворе весна, солнце, резвятся дети. А его заставляют сидеть в комнате и корпеть над учебниками. Противно! Скучно! Как хочется быть свободным! Предаваться любимым играм и развлечениям! Наслаждаться прекрасными весенними днями!

По ходу монолога, он с нарастающей быстротой разбрасывает учебники и тетради и стремительно выскакивает через окно во двор. (Ни двора, ни окна, разумеется, «на сцене» не было, но зрители — все те же тетушки, братья и домочадцы верили и в окно и во двор, так убедительна была игра юного актера.)

Картина вторая. Веселый развязный паренек, уже в длинных брюках, играет в саду с воображаемыми товарищами. (Сад заменяла кадка, с каким-то растением, взятая из гостиной.) Вдруг раздается строгий родительский окрик. Паренек испуганно озирается и убегает. Никакого окрика, разумеется, не было. Он был мимически изображен все тем же Шлемкой.

Картина третья. На сцене стол, накрытый белой скатертью, на нем бутылка, рюмки, закуски, подсвечник с зажженными свечами. У стола кресло. В черной выходной тройке, шляпе набекрень и с франтовской тростью появляется повзрослевший герой. Он пришел в ресторан. Начинается кутеж. Идет веселая беседа с воображаемыми друзьями, которая завершается пением.

Картина четвертая. Тот же столик, на этот раз пустой. Рядом табуретка. В одном углу сцены валяется шляпа. В другом — трость. На кончике табуретки сидит состарившийся герой. Надтреснутым голосом, сгорбившись, произносит он монолог, полный раскаяния в совершенных ошибках, виной которым были» грехи молодости».

Последняя сцена произвела такое впечатление, что все та же тетя Ривка не выдержала и закричала на весь зал: «Ой, Шлейминьке, что с тобой сделали?«По окончании драмы, рыдали уже все. Да и Ефейка, вспоминая этот спектакль через шестьдесят с лишним лет, закончил свой рассказ словами: «я и сейчас весь потрясен!»

Братья поражали своей несхожестью с самого детства, Хаим, или Ефейка, по его собственному признанию, был маменькиным сынком, а мой папа, Шлемка, как его тогда называли, по своему поведению и темпераменту был, скорее, сыном улицы. Ни одно уличное событие, ни одна серьезная драка не обходились без его активного участия. Ефейка, рассказывая о проделках своего брата, тактично называл это шалостями. В своих воспоминаниях он пишет: «С самого раннего детства Шлемка был очень шаловлив и ему вечно попадало от родителей. Был у нас один задира по

имени Фалка, драчун и заклятый враг Шлемки, но и тот ему по части шалостей не уступал».

Шалости были самые разные, но бои, поистине яростные, происходили тогда, когда кто-нибудь обижал Хаимку. Шлемка бросался на защиту брата не только в кулачном бою. Он защищал его, разя врага острым, как лезвие, словом.

В 1902 году, когда в их маленький Двинск стали доходить веяния сионизма, мальчики, ученики хедера, создали молодежную сионистскую организацию. «Молодежи» было от одиннадцати до четырнадцати лет. Как всякая серьезная организация, она имела свою программу, один из пунктов которой гласил: «Сделаем иврит разговорным языком!«Организация имела, разумеется, и свой журнал, постоянными корреспондентами которого были Хаим и Шлема Вовси, а главным редактором и секретарем редакции Ареле Штейнберг, их ближайший друг и единомышленник, впоследствии живший в Англии. Из его воспоминаний я почерпнула основные сведения о детстве отца.

Однажды в редакцию этого журнала братья принесли написанную ими в соавторстве поэму. Она начиналась словами: «На берегу реки Двина горе, рыдание и плач…», а заканчивалось: «На берегу реки Двина веселье, радость и пение…»

Говорилось в поэме о том, что несмотря на все беды, выпавшие на долю еврейского народа, в конце концов придет спасение и будет праздник, «праздник Мессии» в святом городе Иерусалиме в некую мистически — сумеречную пору. (Вот тогда-то, видимо, и были» веселье, радость и пение на берегу реки Двина».) Правда, трудно понять, какое отношение имела река Двина к» святому городу Иерусалиму», но ведь это была поэма, а в поэме можно позволить себе вольность, тем более, если авторам ее по двенадцать лет.

Мнения по поводу авторства поэмы резко разделились — одни считали, что мистически — пессимистическая часть принадлежит перу Хаима, а в жизнеутверждающих строках сквозит озорная Шлемкина фантазия. Большинство же вообще склонялось к тому, что вся поэма целиком написана Шлемкой, который, только чтобы не обидеть любимого брата, пустил в ход все свое богатое воображение: так, для пущей убедительности, не только подписи под поэмой стояли разные, разными были стопки бумаг,— у Шлемки длинные и узкие, а у Хаима короткие и широкие. (Как и сами они отличались друг от друга — Хаимка — пухленький голубоглазый херувим, а Шлемка — подвижный вихрастый драчун с насмешливым взглядом.) И попробовал бы кто-нибудь в его присутствии усомниться в авторстве брата! Он

весь напружинивался, готовый к немедленной атаке противника, причем, средства нападения применялись самые разнообразные — от кулаков до ядовитых насмешек, вынуждавших врага немедленно обратиться в бегство.

Ничего, буквально ничего не сохранилось от того времени! А как интересно мне было бы прочесть и» Грехи молодости», написанную девятилетним Шлемой на идиш, и пьесу» Хасмонеи», написанную на древнееврейском языке братом Ареле Штернберга в традициях романтической школы… Пьесу эту ставили силами все той же организации, в том же девятьсот втором году. Творцам ее было не больше тринадцати, а то и двенадцати лет.

Режиссер спектакля Ареле Штейнберг поручил главную роль Иегуды Маккавея конечно же Шлемке. Но тот, по» своему обыкновению», как пишет А. Штейнберг, хотел, чтобы ведущую роль исполнял Хаимка. Он изощрялся как мог, придумывая всевозможные доводы в пользу младшего брата. Главный козырь он приберег и под конец: «Я же маленький, Хаимке выше меня!«Но и это не убедило труппу, которая решительно воспротивилась Шлемкиному самоотречению, и ему пришлось уступить. Реквизит, естественно, тайком тащили из дома — кто подсвечник, кто отцовский сюртук, кто простыню для» занавеса». Образ Маккавея, по идее автора, объединял в себе два начала: духовную силу и воинскую. От состояния полной немощи и слабости в начале пьесы, он поднимался до вершины героизма.

Двенадцатилетний Шлемка трактовал ее как роль — близнецы, где в одном герое как бы сочетаются два противоречивых, взаимоисключающих начала. И он не только понял свою роль, но и сумел донести собственную трактовку до зрителя. Это в двенадцать-то лет! Заключительные слова Иегуды, обращенные к Богу:«… И передал сильных в слабые руки», он не промолвил, а пропел на мотив молитвы» кадиш». А. Штейнберг вспоминает, что впечатление от его игры было грандиозное. Зал сначала замер, а потом грянуло неистовое» браво!»

Так развлекались двенадцатилетние подростки в маленьком уютном Двинске. Но случалось, что в их ученые забавы врывалась неожиданная стихия в виде цирка. Когда пестрые фургоны с кружевными занавесками появлялись на дороге, а наутро на городской площади вырастал полотняный шатер, занятия в хедере моментально отходили на второй план, и центром внимания становился цирк с его чудесами. Ефсйка вспоминал, каких трудов стоило братьям добиться согласия родителей отпустить их в цирк. С разрешения родителей они, возможно, и в самом деле посетили цирк лишь один раз, и то в сопровождении старшего брата Моисея.

Ефейка, как дисциплинированный сын, больше и не пошел, зато его Шлемка не пропустил ни единого представления. Пробирался он обычно зайцем, задолго до начала представления вместе со своим приятелем, так же как и Шлемка завороженным колдовством, происходящим на арене.

День был насыщен до предела. После занятий в хедере, друзья репетировали номера, которые видели накануне, а вечером опять спешили в цирк.

Спустя короткое время, Шлемка довольно свободно танцевал на лопатах и с большим успехом исполнял диалог кошки с собакой.

В доме у них животных не водилось, ибо от них, как известно, одна зараза. Правда, временами забегала хромая дворняжка по имени Мирта, и бывало даже, что ее находили спящей в Шлемкиной постели, но случалось это редко и кончалось для Шлемки большими неприятностями.

Иногда, в послеобеденные часы, когда мать и тетушка мирно сидели в гостиной за книгой или вышиванием, а отец, по обыкновению, не выходил из своего кабинета, углубившись в изучение Талмуда, за дверью вдруг раздавался странный звук, напоминающий звук лакающей молоко кошки. Мать в панике распахивала дверь и натыкалась на Шлемку, который, видимо, проверял на родителях свои способности в звукоподражании. Правда, отцу он старался в этих случаях на глаза не попадаться.

После отъезда цирка, Шлемка очень затосковал. Но не в его характере было бездеятельно предаваться тоске и он решил сам поставить клоунаду. Вместе со своим приятелем, будущим известным скульптором Додкой Гинзбургом, они смастерили из пакли и разноцветной бумаги парики и костюмы. На щеки и на нос были наклеены пестрые звездочки, и по общему мнению можно было приступать к выступлениям. Но Шлемка решительно заявил, что в настоящем цирке непременно должен быть» номер с собачкой», и прежде чем выступить перед публикой, ему необходимо подготовить Мирту. Верная Мирта, неизменная спутница Шлемки во всех его шалостях, охотно включилась в работу. Он выдрессировал ее с большим умением, и она весело и с пониманием исполняла сложные акробатические номера. Клоунада имела исключительный успех — представление происходило во дворе, переполненном любителями цирка, домочадцами и просто любопытными, которые пришли поинтересоваться, на что способен их изобретательный Шлемка.

Хаимка не принимал участия в клоунаде, и Шлемка, не желая обидеть любимого брата, по обыкновению всячески старался преуменьшить свой успех. Не обидеть, не показать своего

превосходства, заставить человека поверить в свои силы — это умение покоряло в нем всех, кто его знал. Он родился близнецом и зто, видимо, определило его удивительную способность проникновения в сокровенное» Я»другого человека, способность, без которой нет большого актера. Любовь к Хаимке помогала ему в этом — ведь рожденный близнецом, он должен был делить с братом молоки матери, ласку родителей и дружбу товарищей.

В 1905 году кончилась беззаботная жизнь близнецов в их родном городе на берегу Двины. Дед разорился. Лесное дело, которое он унаследовал от своего отца, пришло в упадок. В чем оно заключалось, это дело, я так и не знаю. Была ли это мебельная фабрика, или маленький деревообрабатывающий заводик? Мне почему-то в детстве представлялись плоты, которые гонят по реке. Однако уточнить этот вопрос так и не удалось за всю жизнь. Знаю только, что» делом» дед никогда не интересовался. Изучение Библии и толкование Талмуда целиком поглощали его внимание, и если он отвлекался, то разве что на воспитание сыновей, будущее которых ему виделось, по традиции, в духовных званиях, науке, медицине и юриспруденции. За всеми этими заботами и своими учеными занятиями он не замечал, как хиреет его дело, и в какой-то момент оказался перед печальным фактом банкротства. Не думаю, что дед слишком расстраивался по этому поводу, но с действительностью приходилось считаться, и, отправив старших сыновей учиться за границу, он с младшими перебрался в Ригу. Все братья, чтобы как-то содержать себя и помогать семье бегали по частным урокам. Жили, наверно, очень скудно, но учились, как и в хедере, блестяще. Еще в Двинске у близнецов был учитель, известный поэт и педагог Йоашуа Герцль Гордон. Своему ученику Шлеме Вовси он предсказал будущее великого поэта. В Рижском реальном училище преподаватель литературы предсказал ему будущее великого актера.

А пока он бегал по урокам, прекрасно учился и не оставлял свои шалости, которые, конечно, менялись в соответствии с возрастом.

Благодаря своим незаурядным способностям, мальчики умудрялись давать уроки по любым предметам. Отец преподавал математику, историю и русский язык. А ведь до переезда в Ригу он едва научился читать по — русски. В единственной своей автобиографии, написанной в двадцать восьмом году, он писал: «Лишь в тринадцать лет я начал обучаться русскому языку и светским наукам». Изучение русского языка началось с детской книжки» Нелло и Патраш» какого-то норвежского автора. Мы с сестрой узнали об этом совершенно случайно, как, впрочем и обо

всем, что касалось детства наших родителей. Как-то раз, дело было году в тридцать пятом тридцать шестом, папа, вернувшись домой, сообщил, что наконец-то ему попалась первая книжка, прочитанная им по — русски. Нашел он ее в какой-то букинистической лавке, и с ходу усадил нас читать. Это была сентиментальная история о трогательной дружбе нищего мальчика, мечтавшего стать художником, и его верного пса Патраша. Дрожа от голода и холода, Нелло прижимал к себе пса и обещал ему роскошный ужин, когда прославится и разбогатеет. В конце книжки, умирая от голода, мальчик говорит: «Ничего, мы с тобой очень богаты! Мы столько картин еще нарисуем!»

Как я теперь понимаю, в этой сентиментальной истории была одна тема, до слез волновавшая тринадцатилетнего Шлемку — погибающий от нищеты мальчик только благодаря своему таланту чувствует себя богатым и богатство это мечтает разделить со своим ближайшим другом.

Папа прочел нам вслух весь рассказ. Он говорил, что последние слова Нелло так потрясли его, что он ночами повторял их Мирте, чувствуя себя» безмерно несчастным и богатым одновременно».

И он, действительно, чувствовал себя всегда богатым, даже в тех нередких случаях, когда у нас дома не было ни копейки. У него даже на этот случай существовала теория, что человек рождается либо богатым, либо нищим, и это ни в коей мере не связано с его» карманом».

«Если человек родился нищим, то его не спасут никакие миллионы, — говорил он. — Он всегда будет чувствовать себя нищим, жить, как нищий, трудясь ради накопления, как такового и не получать от этого никакой радости. Он нищ от рождения и умрет нищим, а все его богатства останутся мертворожденными!

Но зато, если ты родился богатым, то неважно, что за душой у тебя нет ни гроша. Ты щедро живешь, щедро помогаешь, и не станешь продавать свое время, если оно тебе нужно для захватившей тебя работы!»

Неудивительно, что сюжет первого, прочитанного им по — русски рассказа произвел на Шлемку такое впечатление, хотя тогда, в детстве, это было лишь неосознанное ощущение силы таланта, как истинного богатства. Но как можно было за два года так постичь чужой язык, чтобы его преподавать? Зная отца, я могу только с уверенностью сказать, что чувство ответственности не позволило бы ему взяться за преподавание предмета, который он не изучил в совершенстве.

После» Нелло и Патраш» последовало увлечение Лермонтовым. А. Штейнберг пишет в своих воспоминаниях о том,

как Шлемка, поглощенный своей новой страстью, решил перевести» Демона» на древнееврейский язык, так как был не удовлетворен существующим переводом. И блестяще это сделал. К сожалению, могу полагаться только на оценку Штейнберга, так как сам перевод» Демона» не сохранился.

Отношение отца к языку вообще было удивительным. Несмотря на то, что в жизни он отнюдь не отличался педантичностью, в языке он небрежности не терпел. «Язык — самое гордое творение человеческого духа. Язык — совершенная форма выражения мысли. Что такое родной язык? Мы впитываем его с молоком матери, он проходит через наше дыхание, наши легкие и горло… Надо очень бережно к нему относиться!», — говорил он в одном из своих выступлений.

И он, действительно, относился бережно к языку. К слову. Будь то слово сценическое или слово, произнесенное в жизни.

Л. Леонов в своей статье» Мои встречи с Михоэлсом» писал: «Мне кажется, что выдержки из его суждений о слове, собранные в отдельной статье, могли бы сыграть очень полезную роль для тех современных драматургов, которые относятся к слову небрежно и безответственно».

Один из его друзей, Ю. Завадский, ученик Станиславского и Вахтангова, вспоминает:«… Как великолепно владел он русским языком! Если вас затруднял какой-либо речевой вопрос — ударение, корень происхождения слова, его точный или иногогранный смысл, у Михоэлса вы получали ответ подробный, увлекательный. Михоэлс чувствовал, понимал, знал русский язык во всем его богатстве и красоте».

Видимо здесь очередной раз сказалась поразительная способность евреев, не только усваивать чужой язык во всех тонкостях его нюансировки, но и через посредство языка впитывать дух народа, его культуру, его суть.

Эта способность, в данном случае, позволила пятнадцатилетнему Шлемке Вовси заняться преподаванием изученного и полюбившегося ему русского языка.

истоки

Рига девяностых годов была одним из духовных центров русского еврейства. В доме моего деда со стороны матери, доктора философии Иегуды — Лейб Кантора, собиралась молодежь и устраивались литературные и музыкальные вечера.

В возрасте шестнадцати лет дед поступил в раввинское училище, открывшееся в Житомире еще при Николае Первом. По окончании курса, он уехал в Германию учиться медицине и стал одним из любимых учеников знаменитого Гельмгольца. Дед обладал феноменальной памятью и сам признавал, что то, что он однажды прочел, он запомнил навсегда. Круг его интересов был исключительно широк, однако больше всего его волновали проблемы русского еврейства. Гельмгольц нередко говорил ему: «Кантор, вы мне кажетесь чересчур универсальным».

Вернувшись в Россию, он забросил медицину и стал редактором первого еврейского журнала на русском языке, а затем, в 1879 году, объединив вокруг себя журналистов, писавших на иврите — Д. Фришмана, доктора Каценельсона (Буки — бен — Иогли), поэта Я. Фруга и других — он начал выпускать в самом Петербурге первую ежедневную газету на языке иврит» Ха — йом».

Знаменитого поэта Фруга он специально вызвал из Херсона для работы в газете. Семья деда сыграла большую роль в жизни Фруга.

Однажды к моей бабушке явились две знакомые старушки — монашенки, чтобы посоветоваться насчет племянницы, молоденькой девушки — сиротки, которая не желает последовать примеру теток и пойти в монастырь, а на ее содержание у старушек нет средств.

Бабушка предложила взять ее к себе в дом и обучить ремеслу белошвейки. Евдокия — так звали девушку — была необыкновенно хороша собой, настоящая русская красавица с тяжелыми золотистыми косами. В это же самое время у деда поселился Фруг, который не имел разрешения жить в Петербурге, то есть вне черты оседлости. У деда же он фиктивно числился лакеем.

Целыми днями сидел Фруг возле Евдокии и вертел ручку швейной машины.

Однако властная и решительная бабушка в конце концов воспротивилась этому» неподобающему» роману — еврейский поэт да с православной, да еще в ее доме, к тому же на незаконном положении в Петербурге!

Так или иначе, Евдокия покинула дом, и продолжала навещать бабушку. С Фругом же она осталась до конца своих дней, самоотверженно разделяя с ним все тяжести и невзгоды, которые могли выпасть на долю еврейского поэта в России.

« Ха-йом» сотрудничал также и Фришман, приехавший по вызову деда из Варшавы.Но еврейская культурная жизнь активнее всего протекала тогда в Польше.И через некоторое время, когда известный журналист Наум Соколов задумал издавать в Варшаве другую еврейскую ежедневную газету, «Ха — йом» прекратила свое существование.

Дед с семьей переехал в Либаву, где ему предложили место казенного раввина. Там же, в Либаве родились девочки — близнецы — моя мать Сарра и ее сестра Эльза, которую дома называли Элей. Когда девочки немного подросли, вся семья перебралась в Ригу. Бабушка умерла рано, и вся семья — брат и две крошки — остались на попечении старшей дочери деда — Маши.

Там, в доме Кантора, папа познакомился с моей матерью. Я представляю себе, как его очаровала необыкновенная мамина красота и насколько привлекательным для него оказался и сам дом деда, где царила атмосфера свободы и глубокой еврейской духовности, которой ему так недоставало в доме своих родителей.

Двери дома всегда были гостеприимно раскрыты, на столе шумел неизменный самовар, а вокруг стола располагалась молодежь, горячо обсуждавшая бурные события того времени, будь то дело Дрейфуса или Кишиневский погром; революция пятого года или статьи Льва Толстого; выступления Жаботинского или Герцля.

Там же, в доме деда устраивались литературные вечера, на которых многие, в том числе и Шломо Вовси, читали стихи Бялика, Фруга, Апухтина, Надсона и других поэтов.

Друзья отца вспоминали, что на этих вечерах он имел непревзойденный успех, и все советовали ему поступить на сцену. Однако, он пока не решался.

Когда, спустя почти двадцать лет, критики, журналисты, театроведы и шекспироведы одолевали Михоэлса просьбами изложить в обстоятельной статье его концепцию и процесс работы над» Королем Лиром» — дело было вскоре после премьеры — Михоэлс долгое время противился, но, наконец, сдался и в тридцать шестом году была напечатана статья под названием» Моя работа над» Королем Лиром» Шекспира.

Увы, более подробной автобиографической справки нет во всем его архиве. Он не любил возвращаться к прошлому, не имел

терпения записывать предстоящие выступления, не имел времени вспоминать. Поэтому, многое я сама впервые узнала только из этой статьи. Вот как он описывает свои первые попытки стать актером:«… Эти мечтания я прятал глубоко — я считал, что не обладаю достаточными способностями, чтобы посвятить себя актерской деятельности. Кроме того, мои родители отнеслись бы к подобному решению отрицательно: в среде, к которой принадлежала моя семья профессия актера считалась зазорной. Если в столице небольшая часть актеров проникала иногда в другие слои общества, то в провинции, и особенно в еврейской среде к ним относились отрицательно и нигде не принимали. Это заставляло меня скрывать свои мечты, тем более, что я был уверен, что ничего реального из них не выйдет. Я начал серьезно готовиться к совершенно другой профессии — меня тогда очень интересовала адвокатура. Я воображал себя адвокатом, с героическими усилиями защищающим какого-то человека и добивающегося его освобождения из-под стражи. Именно, готовясь к карьере юриста, я решил заняться дикцией, так как в то время плохо владел русской речью. По наивности своей я полагал, что быть юристом — это прежде всего значит быть блестящим оратором.

Был у меня в то время один друг, который мне духовно протежировал. Это был Нимцович — отец знаменитого шахматиста. Сам он тоже был прекрасным шахматистом и поэтом, хотя и занимался лесным промыслом. Ему было шестьдесят лет, а мне семнадцать, но мы прекрасно понимали друг друга.

Моя юридическая карьера его столь же интересовала, сколько меня — лесное дело. Но зато он с особым вниманием относился к моим мечтам стать актером, а я — к его поэтическому дарованию.

Нимцович посоветовал мне брать уроки актерского мастерства и свел меня с актером Велижевым, который, впоследствии, некоторое время работал с Мейерхольдом. Велижев много мне дал в смысле дикции и постановки голоса, но заявил, что актера из меня не выйдет, так как у меня нет для этого достаточных данных.

«Какой из Вас актер при Вашем росте?». С этим приговором я примирился, и профессия актера была тогда для меня только грезой».

Весной пятнадцатого года скончался мой дед И. — Л. Кантор, и осенью этого же года отец с мамой и ее сестрой Эльзой переехали в Петербург. Отец поступил на юридический факультет Петербургского университета. Окончание учебы выпало уже на послереволюционное время. Идеи о гуманных задачах адвоката

испарились с появлением ревтрибуналов, слухи о которых просачивались в студенческую среду и холодили кровь. Отец стал подумывать о переходе на математический факультет, где проблемы» гуманизма» не стояли с такой остротой, а способностью к математике он обладал исключительной.

Но тут произошло то, что не могло не произойти.

НАЧАЛО

Соломон Михоэлс 1924 г.

В голодном и заснеженном Петрограде восемнадцатого года, молодой режиссер — ученик Макса Ренгардта — Алексей Грановский задумал создать еврейскую театральную студию.

Идея была новая и весьма оригинальная — никогда прежде

еврейский театр не имел школы.

На призыв откликнулись и любители, и профессиональные актеры. Однако, профессиональных актеров Грановский решил не брать. Несмотря на то, что среди них несомненно попадались самобытные таланты, украшавшие яркими звездами небосклоны еврейских местечек, однако, убогий репертуар, полное отсутствие культуры и заштампованное амплуа, помешали бы Грановскому создать тот новый театр, о котором он мечтал.

Надо сказать, что А. Грановский, человек европейской культуры и воспитания, о еврейской культуре и литературе имел довольно смутное представление. Поэтому, я затрудняюсь сказать, что именно послужило толчком к идее создания еврейской студии. Но абстрактная, поначалу, идея, постепенно стала обретать конкретные формы.

К этому времени Шломо Вовси, выпускник юридического факультета готовился к дипломной работе и подрабатывал преподаванием математики на высших женских курсах.

Проходя как-то дождливым осенним днем по Невскому, он вдруг услышал, что кто-то его окликнул. Это оказался знакомый по одному из драматических кружков, каких было много в те годы. Они поболтали немножко и, между прочим, приятель рассказал о наборе в еврейскую театральную студию. После этой встречи папа провел бессонную ночь, терзаясь сомнениями. Может ли он позволить себе снова сесть за Школьную скамью — ведь ему уже двадцать восемь лет, у него семья, еще немного, и он закончит университет и приобретет профессию, которой не постыдился бы и отец — лесопромышленник…

А наутро он пошел по указанному адресу и в тот же день стал учеником Первой еврейской театральной студии.

В отличие от своего руководителя А. Грановского, Шлема Вовси был весь насквозь пропитан духом и культурой своего народа, и он стал знакомить Грановского с ее традициями, литературой и драматургией.

Экспериментальный период, с которого начинала свою работу студия, закончился в двадцатом году. В то же самое время в Москве также возникла театральная студия, которой не хватало сильного руководителя. Когда до Москвы стали доходить слухи об интересных экспериментах режиссера Грановского, в Петроград направился Абрам Маркович Эфрос, один из руководителей Московской студии, человек необыкновенной эрудиции, крупнейший литературовед, переводчик и искусствовед. Вот как он вспоминает о своей первой встрече с Грановским и папой.

«Почему же это еврейский театр?— спросил я Грановского. —

Но ведь мы играем на еврейском языке! — ответил мне он. — А в Москве думают этого мало? — Да, — ответил я, — мы представляем себе все иначе… — Вот как! — воскликнул Грановский и, поколебавшись, добавил: — Мне хочется познакомить вас с моим премьером… Он — настоящий, правда, со мной он играет в» послушание», но иногда отваживается противоречить мне и тогда кротким голосом говорит такие вещи, которые меня бесят. Теперь я вижу, что они в чем-то перекликаются с московскими… Позовите Вовси! — крикнул он в дверь и, обратившись ко мне, добавил: — Это его фамилия. Для сцены он выбрал себе псевдоним Михозлс по отцу».

В комнату вошел не первой молодости человек, видимо около тридцати лет — низкорослый, худощавый, на редкость некрасивый, с отвисающей губой и приплюснутым, хотя и с горбинкой, носом, с редеющими уже волосами на высоком лбу и торчащими на висках вихрами, с живым, но точно бы искусственно погашенным взглядом. На его повадках лежала печать нарочитой сдержанности.

—Вы меня звали, Алексей Михайлович… — сказал он в самом деле кротким голосом.

—Вот хочу тебя представить московскому гостю… Поговори с ним, изложи свою точку зрения на еврейский театр.

—У меня нет своей точки зрения, — негромко и чуть-чуть упрямо ответил Михоэлс. — У нас есть ваша точка зрения.

Грановский засмеялся:

—Смотри, Соломон, вот мы решим что-нибудь и придется тебе выполнять.

У Михозлса вдруг дрогнули усмешкой уголки губ и с невыразимым очарованием юмора и теплоты он произнес стереотипное:

—Что ж? Вы — наши отцы, мы — ваши дети.

—Экое обаяние в этом уроде, — внезапно подумал я. — Пожалуй, он и в самом деле интересен на сцене. Он и в» послушание» играет, как роль ведет… Во всяком случае, незаурядно!

Переговоры увенчались успехом. Было решено, что Грановский перейдет в Москву вместе с ядром своей труппы, с тем, чтобы и лучшая часть московской группы влилась в театр под его руководством.

С переездом в Москву начался новый период в жизни Михоэлса.

У меня сохранилось несколько документов того времени. Из них следует, что едва начав работу, он уже взял на себя ответственность за существование театра. Вот командировочное

удостоверение, напечатанное на грубой, пожелтевшей не от времени, а от качества бумаге, где сказано, что для подготовки переезда театра из Петрограда в Москву, в Петроград направляется член Управления театра, заведующий сценической частью Соломон Михайлович Вовси.

Это в мае двадцатого года. А в январе того же года ему поручают приобрести для театра еврейскую энциклопедию. Не сомневаюсь, что идея принадлежала папе — кому еще могло прийти в голову в эти холодные и голодные годы заниматься поисками еврейской энциклопедии, для того чтобы, по всей вероятности, «просветить» весьма невежественных актеров и подготовить» культурную базу», как это тогда называлось.

А вот бумажка, не менее желтая и потрепанная, от марта двадцать первого года. Это весьма примечательный документ, в котором уже обозначаются первые признаки советского бюрократического маразма. В бумаге этой неизвестно кем и неизвестно кому сообщается, что С. Вовси срочно уехал по делам театра в Москву и просят позаботиться о его вещах.

Но и мои родители выступают здесь в очень типичной для них роли. Отбыв в Москву» для устройства театра на новом месте», они, конечно, не успели захватить свои немногочисленные пожитки и, в итоге, остались без всего, а до новых приобретений дело так скоро не дошло. Правда, стояла у нас в коридоре на Станкевича зеркальная дверь от бывшего шкафа» из дома» — как благоговейно говорила тетя. Да несколько старинных шкатулок и ящичков, неизвестно каким образом захваченных ею, украшали наши клетушки, обставленные самыми случайными вещами.

В Москве студия объединилась с недавно возникшей московской еврейской группой, и там отец впервые встретился со своим будущим неизменным партнером Вениамином Зускиным. С этого момента возник Московский Государственный Еврейский театр, просуществовавший до сорок девятого года.

Как-то я нашла папино выступление, относящееся к двадцать шестому году, в котором он рассказывает о бродячих еврейских труппах.

«Прошлое еврейского актера, — пишет он,— столь же мрачно, как и прошлое его зрителя. Строгий и жестокий быт долгое время препятствовал их встрече, актера и зрителя. Но вот, наконец, лет пятьдесят назад эта встреча состоялась. Их духовный мир был одинаково низок. Сценический материал — убог… Актер, только — только отделившийся от зрителя, мало чем отличался от него и техникой и умением лицедействовать. Правда, появился у актера платежеспособный зритель — то был сытый лавочник,

обыватель, мещанин… Мещанин у всех народов один и тот же. Он сделался его хозяином, его этическим законодателем. Он искал в своем театре успокоения и самоутверждения. И актер пел ему…»

Отец был убежден, что новому еврейскому театру уготована другая судьба, и он не ошибся — ни такого ослепительного взлета, ни такого трагического финала не знала ни одна еврейская сцена.

* *

В январе двадцатого года состоялось официальное открытие Московского Государственного Еврейского Камерного театра. Он расположился в небольшом трехэтажном особнячке на Станкевича, принадлежавшем до революции какому-то купцу.

На втором этаже помещались сцена и зрительный зал, а первый и третий этажи были предоставлены для общежития актеров. Стены и потолок крохотного зрительного зала были расписаны Марком Шагалом — одним из самых одаренных молодых художников того времени.

Ставили» Три еврейских изюминки», как назвал Грановский три одноактных пьесы Шолом — Алейхема. Какая жалость, что нет записи прелестной миниатюры» Мазлатов»! До чего же трогательный, наивный и мудрый был Реб Алтер Михоэлса, в длинном капоте и нелепом картузике, разрисованном какими-то букашками по прихоти Шагала, оформлявшего спектакль. А. Эфрос вспоминает, что»… в день премьеры, перед самым выходом Михоэлса на сцену, Шагал вцепился ему в плечо и исступленно тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на костюме какие-то точки и выписывал на картузе никакими биноклями неразличимых птичек и свинок, несмотря на кроткие уговоры Михозлса и повторные, тревожные звонки со сцены…»

Недавно, когда я была у Марка Захаровича Шагала в Ницце, он рассказывал мне об этой их совместной работе. Во время одной из репетиций, Шагал сам разрисовывал лицо Реб Алтера, долго что-то придумывал, а потом вдруг заявил: «Михоэлс, мне мешает ваш правый глаз!«Сначала папа растерялся, но прошло некоторое время и, однажды, когда он приехал навестить заболевшего Шагала в Малаховку под Москвой, то, совершенно неожиданно, по словам Шагала, прямо с порога, Михоэлс воскликнул: «Понял!», и глаз был уменьшен в соответствии с замыслом художника.

Уж не знаю, что имел в виду Шагал и что понял папа, но действительно, между ними сразу установилось какое-то

буквально телепатическое взаимопонимание.

Так начинал Шагал свое творческое содружество с Михоэлсом. Наряду с ним в нашем театре работали такие художники как Натан Альтман, Роберт Фальк, Исаак Рабинович и, наконец, приглашенный Михоэлсом для оформления Лира и оставшийся при театре до конца его дней Александр Тышлер.

В двадцать первом году театр переехал на Малую Бронную, куда были перевезены все панно Шагала, и просуществовал там до конца, то есть до весны сорок девятого года. Но актеры еще многие годы жили в общежитии на Станкевича. В первые годы своего существования театр жил, действительно, «одной семьей», как писал Михоэлс. Актеры были молоды, семьями никто еще не обзавелся, и каждый занимал по одной комнате. Комнат этих в длинном коридоре было двенадцать. Коридор переходил в нескладную переднюю, ведущую в большую и грязную кухню. За кухней помещался коридорчик, по одной стороне которого три, похожие на каюты, узкие комнатушки. Эта-то квартирка, за кухней, предназначавшаяся, по всей вероятности, для прислуги бывшего владельца дома, и была отдана моим родителям.

На кухне, уставленной двенадцатью фанерными шкафчиками, каких теперь уже не видно, с утра до глубокой ночи жужжали примуса, распространявшие острый, разъедающий глаза запах керосина. Из-за копоти и жира дневной свет почти не проникал в два маленьких окошка, и почти круглые сутки высоко под потолком тускло мерцала электрическая лампочка. Дверь там почему-то отсутствовала, и весь этот кухонный чад и гул постоянно наполняли нашу квартиру, в которой мы прожили до тридцать пятого года.

Коллектив, о котором в дальнейшем писали как об одном из самых талантливых и ярких театральных коллективов Москвы, состоял в своем большинстве из людей, приехавших из украинских и польских еврейских местечек. За небольшим исключением, это были малообразованные темные люди, которых объединяла любовь к театру и преданность его руководителю А. Грановскому.

ЗУСКИН — ПАРТНЕР, ДРУГ, БЛИЗНЕЦ

Марк Шагал, Михоэлс — реб Алтер.Москва 1921 г. (печ. впервые)

Самым одаренным и ярким в Московской группе был совсем еще молодой Вениамин Зускин, который пришел в студию из Горного института. Они прошли с отцом всю их театральную жизнь, а наша домашняя жизнь тесно переплеталась с жизнью

Зускина и его семьи.

Зускин приехал в Москву с Урала, чтобы продолжать учебу в Горном институте, которую начал, непонятно по какому недоразумению, еще на Урале.

Видимо, этот случайный эпизод с Горным институтом оставил неизгладимый след в его сознании, потому что я не помню, чтобы он хоть раз упустил возможность поговорить об этом. Как часто мы не проезжали бы по Большой Калужской, он прерывал любой разговор словами: «Вот, Соломон Михайлович, в этом здании помещается Горный институт, где я начинал свое образование, помните, я как-то вам рассказывал?«Папа неизменно с большим интересом переспрашивал, поддерживал игру, и только после этого традиционного диалога, они возвращались к прерванному разговору. Эта игра повторялась неоднократно и никогда им не надоедала, как, впрочем и все изобретательные и смешные игры, в которые они играли всю жизнь. В своих воспоминаниях» Наш Михоэлс» Зускин, или Зуса, как все его звали, пишет:«… И вот начинается спектакль для самих себя. Я »играю» своих дедушку и бабушку, рассказываю о всевозможных событиях их жизни. Михозлс подхватывает. Теперь он — дед, а я бабушка. Мы импровизируем и не можем остановиться. Затем Михоэлс мастерски перевоплощается в своего дядю Шимона.

Эта импровизированная игра — незабываема. Эта игра блистала находками и детской непосредственностью, и была для С. Михоэлса, а для меня тем более, сплошным удовольствием и даже необходимостью. Из таких шуток получались интересные вещи. Например, репетируя» Путешествие Вениамина III», сцену, в которой Вениамин и Сендрл, усталые и голодные ложатся спать на твердых скамьях и охают при этом, мы вспоминали, как мы однажды вместе изображали моих деда и бабушку, как они ложились спать на скрипучих кроватях…»

Я так и вижу, как они беседуют в ночной тишине на зускинской кухне, и, как самые настоящие дети, забывают, что уже поздно, что завтра рано вставать, что оба провели длинный, тяжелый день… Как мне жаль, что я почти никогда не присутствовала на этих импровизированных ночных представлениях! Правда, в дальнейшем, мне посчастливилось неоднократно наблюдать их» игры». Я попытаюсь рассказать пару таких сценок, но вряд ли мне это удастся — «пересказывать» игру актеров — так же невозможно, как» пересказывать» живопись или музыку. И то, и другое увы, не поддается словесному описанию.

Когда я только родилась, нашу семью охватила паника — где брать пеленки, кроватки и прочие необходимые детские вещи. Заранее готовиться к появлению младенца, как известно, строго

запрещается, а в последний момент в России никогда ничего не достанешь. Мама еще была в больнице, а папа носился по Москве, главным образом в поисках продуктов для мамы. Накануне ее возвращения домой, папа, так ничего и не закупив, примчался к безмятежно спящему Зускину, вытащил из-под него простыни и, со словами» ничего, поспишь и так!», побежал к себе. Простыня была разорвана мне на пеленки.

Оба они, впоследствии, любили вспоминать этот эпизод, снабжая его все новыми подробностями. Как-то я пообещала Зусе, что когда вырасту большая, обязательно верну ему свой долг. И вот, году в сорок шестом, я подарила ему на день рождения роскошную льняную простыню. Вечером, когда собрались гости, состоялся показ подарков. Папа, увидев мой подарок, страшно оживился, потребовал, чтобы погасили электричество и зажгли свечи. Задрапировавшись в простыню, он принялся читать» Сумасшедшего» Апухтина, с завыванием и закатыванием глаз на манер чтецов — декламаторов десятых годов. По окончании этого неожиданного выступления, которое гости приняли с восторгом, Зускин заботливо помог Михозлсу снять» тогу», затем, не произнося ни слова, взял со стола тарелку и положил ее себе на голову. Папа, внимательно следивший за его действиями, немедленно проделал то же самое и они дружно исполнили, с тарелками на голове, дуэт узбекского фольклора.

Зускин покорял каждого своим обаянием. Костюм на нем выглядел всегда элегантно (чем он весьма отличался от Михоэлса, на котором вещи сразу теряли свою новизну, брюки пузырились на коленях, а пиджак выглядел как с чужого плеча). Он был намного выше отца и на девять лет его моложе. Но совершенно независимо от разницы в возрасте их отношения складывались как отношения старшего к младшему, учителя — к ученику. Это сказывалось даже в обращении: Зускин папе — «Соломон Михайлович» и»Вы», а папа ему — «Зуса» и»ты».

Они были разными по темпераменту, юмору, отношению к людям и подходу к роли. Михоэлс исходил из философской концепции образа, изнутри анализируя причины поступков своего будущего героя. Зускин же отталкивался прежде всего от внешних деталей, именно они подсказывали ему характер и поведение образов, которые предстояло сыграть. Но эти различия в подходе не только не мешали их совместной работе, а скорее помогали и дополняли друг друга.

Отец сказал как-то, что» каждый человек, как цветок для пчелы, заключает в себе капельку особого меда для зускинского улья».

Зускин отбирал в человеке трогательное и смешное. Глаза его

жадно впивались в собеседника, и как только он подмечал смешную, комичную черточку, в них вспыхивали насмешливые огоньки.

В двадцать втором году состоялась премьера» Колдуньи» по Гольдфадену. По традиции Гольдфаденовско театра роль Бобе — Яхне была поручена мужчине. Зускин играл Колдунью. Его Бобе — Яхне была старой страшной каргой, высохшей от жадности и злости. Чем бесноватее она становилась, тем сильнее причмокивала, притоптывала, пришептывала.

В еврейском местечке Поневеже, где он вырос, как видно попадались такие старухи и Зускин сумел вложить в зту первую роль весь свой талант, наблюдательность и обаяние. Он наделил Колдунью жутким крючковатым носом, густыми нависшими седыми бровями. А рот — тонкой щелью прорезал от уха до уха. Зуса сам мне рассказывал, что однажды меня, совсем еще маленькую, привели к нему за кулисы поздороваться, а я разревелась и потребовала, чтобы меня немедленно увели домой.

Эта роль, сыгранная Зускиным в возрасте двадцати трех лет, сразу принесла ему широкую известность и любовь зрителя. Однако, большому успеху Зускина в» Колдунье» предшествовал тяжелый и мучительный труд. Вот что он сам пишет об этом периоде в тех же воспоминаниях: «Вспоминаю зиму двадцать второго года. Я уже полгода на сцене! На сердце у меня нелегко. В еврейскую театральную школу в Москве я приехал учиться с далекого Урала. В студии я учился всего несколько месяцев, меня сразу же приняли в театр и дали роль в спектакле Шолом — Алейхема. Я все думал о том, что от меня требовал режиссер, день и ночь репетировал. Режиссер велел мне кричать — я кричал до хрипоты. Требовал разных движений — я с утра до ночи занимался физическими упражнениями. Но внутренне я оставался холоден, я ничего не понимал, я не понимал как актер подходит к роли. Я решил, что актер из меня не получится, и я должен уйти из театра. С такими мрачными мыслями я носился долгое время. Однажды после спектакля я забрался в уголок фойе. Долго я так сидел, углубившись в свои мысли. Вдруг кто-то положил руку мне на голову. Я поднял глаза — передо мной стоял Михозлс.

«Давно я слежу за тобой, — обратился он ко мне. — Скажи, что с тобой происходит? Расскажи, что тебя волнует?..» Я излил перед ним всю горечь, накопившуюся на душе.

Михоэлс очень внимательно меня выслушал, взял за руки, посадил возле себя, и мы долго беседовали. За эту ночь прошел университет актерского мастерства. На конкретных примерах моей работы Соломон Михайлович показал мне мои ошибки,

объяснил, как их избежать, разъяснил общие принципы актерского мастерства, обещал взять надо мной опеку. С этого момента началась моя актерская жизнь».

Зускин рассказывает здесь о поре своей актерской юности. Мне же помнятся, естественно, гораздо более поздние времена, когда он, уже зрелый и знаменитый, все так же мучался сомнениями, не верил в собственные силы, искал единственное верное решение образа и, найдя его, радовался каждому штриху.

Но, когда он появлялся на сцене, зрителей сразу же очаровывала зускинская легкость, четкость его пластики, простота и выразительность, мелодика речи, которые отличали его работу. Никто не мог догадаться сколько мучительного труда вложено в эту роль.

Увидеть смешное и довести это смешное до гротеска — в этом заключалась природа его, зускинского юмора.

У папы же юмор являлся скорее мировоззрением, жизненной позицией. Смешное он видел в несообразности ситуации. А юмор, по его мнению, это уже оценка этой ситуации, вернее, этой несообразности. В жизни он улавливал комичное в самой драматической ситуации. Обращая юмор в первую очередь на себя, он мог одним словом или даже интонацией, разрядить самую напряженную обстановку.

Почти в каждом образе, за исключением, пожалуй, Лира, трагическую ситуацию он решал комическими средствами, снимая, таким образом, излишний драматизм и сентиментальность. По его собственному признанию жанр трагикомедии был ему ближе всего.

Как-то, году в сороковом, отца пригласили в ВТО[1] прочитать лекцию о» природе смешного». Он отказывался, просил меня объяснить, насколько он занят, «придумать что-нибудь». Но ничего не помогло и, набросав на клочке бумаги, по своему обыкновению, несколько общих соображений, он отправился выступать.

Я почему-то на вечер опоздала и, войдя в зал, услышала как папа говорит, что» человек, обладающий юмором, увидит смешное там, где другой останется глубокомысленным и серьезным. Я лично больше всего ценю юмор, обращенный на себя, хотя по опыту знаю, как это порой бывает трудно».

В это время я обратила внимание на какого-то юношу, который, слегка согнувшись, чтобы не мешать, пробирался по залу к эстраде. Сзади на его брюках аккуратно примостился кусочек торта с кремом. Мне это показалось смешно, я громко хихикнула, и тут же услышала сердитый голос отца: «Кому неинтересно, может выйти из зала!«Конечно, весь мой смех

моментально испарился. После выступления я зашла за кулисы. Отец был окружен толпой. Заметив меня, он бросил строгий взгляд в мою сторону, и я осталась стоять в дверях. Наконец, мы отправились домой. В лифте папа сердито сопел, не глядя на меня. Тогда я рассказала как в зале наглядно продемонстрировалась его теория, и он расхохотался гораздо громче, чем это сделала я в зале.

Несмотря на разный подход к роли, разное понимание юмора, Зускин и Михоэлс были непревзойденными, неповторимыми партнерами.

Им обоим чрезвычайно посчастливилось. Зускин встретил партнера, для которого чувство второго человека было врожденным, а Михозлс нашел в Зускине продолжение своего брата, которого надо защищать, ограждать от грубого вмешательства жизни. И смерть их, как и жизнь, была подтверждением их судьбы» близнецов».

В. Зускин, С. Михоэлс — игра в "новобранцы" Москва (печ. впервые)

ДОМ НА СТАНКЕВИЧА

В доме на Станкевича Зускины жили на первом этаже. Впервые я попала к ним только в тридцать третьем году, до этого мое общение с актерами ограничивалось лишь стенами нашей квартиры. В перерыве между спектаклем и репетицией они приходили домой, и на кухне происходили» производственные совещания». Например, актер Миша Штейман, в молодости изучавший сапожное ремесло у своего отца, горячо доказывал Авреймеле Шидло, что тот не имеет права браться за роль, так как у автора сказано, что его герой говорит высоким голосом, тогда как у него, Шидло, голос чрезвычайно низкий. Лично я думаю, что идея пойти в актеры возникла у Шидло именно из-за его удивительно глубокого мефистофельского баса. Правда, он обладал еще и высоким ростом, что, по его мнению, тоже способствовало сценической карьере.

Любое недоразумение между деятелями искусства вызывало немедленную реакцию их жен, которые защищали интересы своих мужей сковородочными дуэлями.

Шестнадцать примусов, споры жен, плач детей — все это сейчас, когда я вспоминаю, кажется мне адом из плохонькой комедии. Если кухня была адом, то квартирка за кухней, где жили мои родители, наверное была чистилищем. После бурной сцены на кухне, к моей маме забегали по очереди спорящие стороны, и каждая, поливая слезами и проклятиями противницу, доказывала свою правоту.

Мама с тихой спокойной улыбкой выслушивала их, и с удивительным тактом, не принимая ничьей стороны, пыталась примирить разбушевавшихся дам. А поздно ночью, когда папа возвращался после спектакля, она со смехом рассказывала ему о дневных сражениях.

Но и папа, в свою очередь, имел чем поделиться.

Он сидел у себя в кабинете, когда к нему явилась актриса Ида Абрагам, жена того самого актера, который сообщил в свое время папе об открытии еврейской студии. Мы в детстве звали ее» мегера». В кухню она не входила, а врывалась. Огромная, с копной мелко вьющихся седых волос, она вечно совала свой совиный нос в соседские кастрюли.

Вот так она ворвалась в кабинет Михоэлса и с порога потребовала, чтобы ей дали роль молоденькой девушки. Отец встал из-за стола и спокойно предложил ей сесть.

— Нет! Этим вы меня не купите! Отвечайте, дадите вы мне роль Мирелe или нет?!

— Но вы и так уже получили ведущую роль мачехи, — вежливо возразил Михозлс.

— Вы издеваетесь надо мной! — взревела» мегера» и, схватив со стола мраморную чернильницу, запустила ее в голову моему отцу.

— Итак, можно считать, что я сегодня заново родился, — закончил папа.

«Мегера» со своим мужем Ной Львовичем занимали комнату на нашем этаже. Детей у них не было, зато жила крохотная противная собачка по имени Гера, которую мы звали Гера Ноевна, за что нам влетало от родителей.

В этот период, к которому относятся мои самые ранние воспоминания, почти у всех актеров уже были дети, и длиннющий темный коридор нашей квартиры постоянно сотрясал детский рев. Ванная комната была одна на всех, и каждый день на ее облупившихся дверях вывешивалось объявление: «Сегодня с шести до семи купается Адик Штейман. С семи до восьми Толик Шидло» и так далее.

Но когда купание совпадало с периодом распределения ролей, а оно (распределение) не оправдывало надежд исполнителей, то в отведенное для Адика время, когда его, жирненького и ревущего, погружали в обшарпанную ванну, туда врывалась жена Шидло и, швырнув своего Толика в мыльную воду, принималась вытаскивать из нее мокрого скользкого Адика. Дамы, перепутав детей, старались ими же стукнуть друг друга. Причина спора всегда была творческая.

Но, несмотря на эти сложные взаимоотношения, жители нашего дома, на самом деле, были сплочены в одну большую семью, как писал об этом отец.

Если мама заболевала, а это случалось все чаще, нас с сестрой забирала к себе актриса Леля Ром, одна из лучших актрис первого поколения. Мягкая, с теплым юмором, она, как мне кажется, быстрее чем другие улавливала требования режиссера и доносила их до зрителя. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что из всех актрис именно с Лелей у папы был настоящий сценический контакт. Мне запомнились еврейские народные песенки, которые она напевала нам своим чудным глубоким голосом.

По утрам она выползала на кухню, лохматая в черном сатиновом халате, таща за руку свою маленькую сонную дочку. Поставив чайник на керосинку и захватив нас, она возвращалась в свою крохотную комнатку, где над диваном висел портрет красивой молодой женщины с букетиком цветов в пышных волосах. Пока мы слонялись по комнате, не зная чем бы заняться,

Леля присаживалась к полукруглому столику красного дерева (доставшемуся по наследству от бывшего хозяина дома) перед висевшим на стене зеркалом и через несколько минут на моих глазах превращалась в красавицу с портрета.

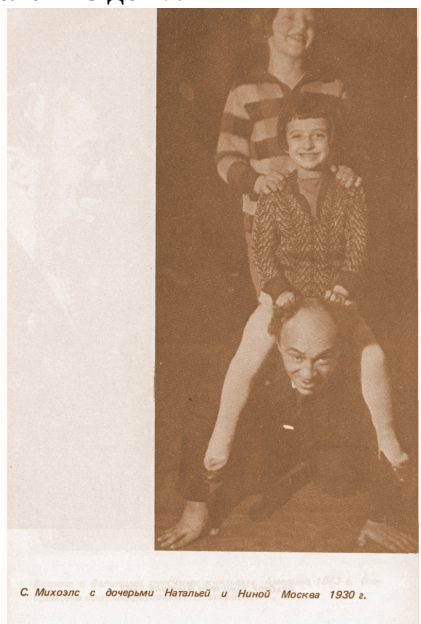
Затем она уходила на репетицию. Слово» репетиция», как я уже говорила, для детей нашего дома было магическим, несмотря на то, что оно означало уход родителей из дома.

Профессор Мирон Семенович Вовси Москва 1939 г.

жена С. Михоэлса Сарра Львовна Вовси-Михоэлс Москва 1924 г.

Брат-близнец Хаим Вовси Москва 1950 г.

А. Потоцкая, С. Михоэлс Москва 1936 г. (печатается впервые)



С. Михоэлс с дочерьми Натальей и Ниной Москва 1930 г.

ТЕАТР. РАБОТА. КУЛИСЫ

Репетиция — работа. Спектакль — праздник. Так воспринимали мы, дети, жизнь взрослых. Утром на Малую Бронную приходили все актеры, независимо от того были они заняты в данном спектакле или нет. В темноте зала они рассаживались вокруг Грановского и начиналось действо — создание спектакля.

Грановский создавал рисунок спектакля. Он» дирижировал» ансамблем, разработку же мизансцен он поручал своему» концертмейстеру» — Михоэлсу.

Грановский был эстет, человек с европейским мышлением и образованием. Быт еврейского местечка, на котором строился, в основном, весь репертуар Госета, был ему совершенно чужд и непонятен. Что же касается Михоэлса, то, по словам Эфроса, он был» раввинноид» — по рождению хасид, а по опыту — выходец из той среды, о которой писали Шолом — Алейхем, Перец, Менделе. Поэтому, когда он приступал к репетициям, Алексей Михайлович бросал свою дирижерскую палочку и предоставлял ему полную самостоятельность.

Выпускали не больше трех спектаклей в год, а порой и меньше. Всех объединяло одно обшее стремление — создать интересный, своеобразный спектакль. И спектакли создавались такие, что несмотря на сугубо еврейский репертуар, они посещались не только евреями. Евреи же считали театр своим домом, синагогой, клубом, собственной резиденцией, местом встреч и воспоминаний, где они могли бы услышать любимые с детства песни, встретиться с друзьями, наконец, свободно, не понижая голос, поговорить на идише.

С каждой новой премьерой интерес к театру возрастал. У зрителей уже были любимые спектакли и любимые актеры. В театрах тех лет царила домашняя семейная атмосфера. У нас же, зал и кулисы часто составляли одно целое. Актеры, галдя и перебивая друг друга, толклись в дверях, ведущих в зрительный зал, а публика громко с ними переговаривалась. Так это выглядело в первое десятилетие театра. Потом, начиная с тридцатых годов, контакт и близость между людьми стали уже редкостью. Но к отцу все так же приходили в гримерную в антрактах поклонники и поклонницы, и все так же поодиночке заглядывали актеры.

Когда в дверях гримерной появлялся актер Луковский — изящный, небольшого роста человек с лицом и повадками парикмахера, исполнявший, главным образом, роли глухонемых и

животных, папа с тревогой оглядывал сидящих. Было у Луковского одно удивительное свойство — на свою беду он умудрялся как-то ненароком попасть собеседнику в самую больную точку.

Сидели мы как-то в антракте за кулисами. В гримерной набилось полно народу, вдали от двери у окна пристроился инвалид на протезах, которые Луковский не заметил. Собственно, он вообще понятия не имел ни об этом человеке, ни, тем более, о его протезах. Забежав на минутку в папину гримерную, он галантно поцеловал дамам ручки, изысканно вежливо поклонился остальным и, обращаясь к папе, сказал:

— Знаете, Соломон Михайлович, сегодня я встретил Лидочку. Вы должны ее помнить, она приходила на все спектакли с моим участием, так вот, представьте себе, оказывается, она попала под трамвай и теперь ходит на протезе! Какой ужас! Какое уродство! Кстати, она просила передать вам привет.

Можно представить себе, какая неловкость воцарилась в комнате, когда он вышел.

— Луковского очень любят женщины, и он мне постоянно выражает сочувствие, понимая, насколько мне трудно в этом вопросе с моей внешностью, — попытался выйти из положения отец.

Все рассмеялись и разговор возобновился. Подобные истории случались с бедным Луковским постоянно.

Актеров, подобных Луковскому, то есть людей без специального театрального образования, среди первого поколения было большинство. Но Грановский сумел создать из всех них единый организм, заставил петь безголосых и танцевать неуклюжих.

«200. 000»

В ту пору театр создавал спектакли наподобие современных мюзиклов. Таким был спектакль» Колдунья», несколько иным, но также музыкальным и пластическим был спектакль»200. 000»по Шолом — Алейхему.

В этом спектакле Михоэлсу впервые была предоставлена полная самостоятельность. Грановский не вмешивался в работу своего премьера.

В роли Шимеле — Сорокера Михоэлс впервые стал актером — автором, то есть начал проводить в жизнь тот принцип работы, о котором впоследствии много писал, думал и говорил. Но об этом позже.

В двадцать третьем году состоялась премьера»200. 000», где отец играл роль портного, на которого свалилось неожиданное счастье — он выиграл 200. 000 по лотерейному билету. В начале спектакля Шимеле Сорокер, так зовут портного, сосредоточенно и важно орудует ножницами и утюгом, прищуривается, разглядывая кусок материи, как живописец — новое полотно, и напевает себе под нос какую-то незатейливую мелодию. Вдруг появляются подмастерья и сообщают радостную весть — он выиграл 200. 000 по лотерейному билету! Минута ошеломления… и вот Шимеле, схватив какой-то мешок, напяливает его себе на голову в виде треуголки, скрестив руки на груди делает шаг вперед и застывает в позе Наполеона. Во втором акте он уже не Шимеле — теперь его зовут Семен Макарович, и он принимает у себя дельцов, заключающих с ним контракт. Но ни что такое контракт, ни как его подписывают бедный Шимеле, конечно же, не знает. Но не может же он ударить лицом в грязь! И надув щеки, высунув от старания язык, и зачем-то закатав рукава, он старательно выводит какую-то закорючку. Дело сделано, и по этому поводу надо выпить. Непривычный к возлияниям портной моментально хмелеет. Он ходит с рюмкой вокруг стола, а два дельца — жулика (ибо, как и следовало ожидать, к нему явились жулики) кружатся вместе с ним. С каждым кругом он становится все пьянее, и песенка, которую он поет, явно свидетельствует об этом. Кончается дело, конечно, тем, что опытные жулики оставляют наивного Шимеле без гроша. Семей Макарович опять превращается в бедного портного.

Летом после премьеры»200. 000»театр поехал на гастроли в Одессу. Спектакли Госета пользовались огромным успехом. Оперный театр, в помещении которого проходили гастроли, ежедневно был переполнен. Репетиции, спектакли, встречи,

ежедневные банкеты после спектаклей, все это отнимало массу времени и сил. И, конечно, требовалась какая-то разрядка. Об одной такой» разрядке» вспоминает известный театровед и писатель, друг отца Александр Дейч.

«… Расскажу только об одной игре, в которую вовлек Михоэлса и меня Грановский. Однажды он пригласил нас в свой великолепный номер в» Лондонской» гостинице. Он принял нас в роли властительного синьора, угостил вином, а затем сказал деловито: «Вот видите, товарищи, этот пакет? Я купил белую рогожу. Через час придет лучший в городе портной, снимет с вас обоих мерку и сошьет вам мичманские костюмы».

Мы стали протестовать: «Зачем нам мичманские костюмы? И какие мы мичманы?»

Грановский сделал вид, что рассердился: «Вот она, людская неблагодарность! Тратишь время и деньги, а они еще недовольны! Подумать только, какая красота, вчера вы выступали в роли лекторов, а через несколько дней будете прогуливаться по бульвару непременно вместе, как два бравых мичмана».

Михоэлс задумался, потом спросил меня: «Вы можете точно сказать, видали ли вы когда-нибудь в жизни мичманов и что вы о них знаете?»

Я ответил, что знаю по гоголевской» Женитьбе» мичмана Дырку, и еще хорошо знаком с бывшим мичманом Ильиным, ныне Федором Федоровичем Раскольниковым.

«Этого больше, чем достаточно, — сказал Михоэлс и, уже обращаясь к Грановскому, добавил: «Дело должно быть поставлено серьезно. Вы нас приглашаете на роль мичманов в неведомой пока пьесе, которую нам надлежит играть. А какова будет оплата за труд?»

Грановский будто ждал такого вопроса. Он сказал, что заплатит нам по червонцу, в тот день, когда мы наденем мичманские костюмы.

Джентльменское соглашение состоялось. Неулыбчивый одесский портной морского ведомства, ничему не удивляясь и ни о чем не спрашивая, снял с нас мерки. А пока шились костюмы, у нас с Михоэлсом шли долгие разговоры о том, как мы будем представлять мичманов.

«У Грановского есть цель оглупить нас,— говорил Михоэлс, — так как ни по фигурам, ни по росту мы на мичманов не похожи. Не надо этому поддаваться. Если мы станем прогуливаться по бульвару, изображая морских волков, куря трубки и сплевывая сквозь зубы — словом, прибегнем к штампам, — наш наниматель добьется своего и увидит, что мы плохие исполнители своих ролей.

Мы будем действовать иначе — отвергнем привычные штампы и гротескное изображение бравых сыновей моря. Я представляю себе, что Грановский пригласит гостей и все с балкона гостиницы будут смотреть на этот спектакль. Если мы будем вести себя умно, его затея потерпит крах… Для нас главное — ничего не играть, вести себя непринужденно. Мы не нанимались участвовать в параде комедиантов, а только любезно согласились носить эти костюмы. Значит, надо научиться их носить. Сегодня после обеда мы с вами отправимся в порт и познакомимся с какими-нибудь мичманами.

Мы так и сделали. Но разыскать мичманов не удалось… Однако, Михоэлс все время наблюдал за разными матросами, обращал мое внимание на то, как они ловко носят брюки — клеш, как ловко сидят на них куртки.

Настал день, когда портной принес костюмы. Высокое зеркало отразило довольно нелепые фигуры скорее перезрелых гимназистов, чем морских офицеров.

Грановский, взглянув на нас, сказал: «Хороши!» — и элегантно поднес каждому по хрустящей кредитке. «Алле, марш!!» — скомандовал он. — «На бульвар!»

… Пробираясь вдоль домов, мы прошли до конца улицы. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. Мы вышли на бульвар и медленно направились к зданию гостиницы. У Михоэлса были зоркие глаза, и он издалека увидел, что на балконе у Грановского полным — полно. Постановщик этого необычного спектакля позаботился об аншлаге.

—Ни за что не поднимать на балкон глаза и делать вид, что мы ничего не замечаем,— поучал меня Михоэлс. — Я-то смогу это сделать, а за вас не ручаюсь. Поэтому я буду вам **что-нибудь** рассказывать. Тогда это будет выглядеть очень естественно.

Так мы прошли с ним мимо» Лондонской» гостиницы, повернули обратно, непринужденно беседуя и не обращая никакого внимания на балкон, где Грановский собрал своих зрителей. Потом мы вернулись в гостиницу, переоделись в» штатское» и отправились на вечерний спектакль. Никаких разговоров о» мичманах» с Грановским не было: он молчал, а мы и подавно».

ФАЛЬК

Крохотный» мичман» Александр Дейч прекрасно вписывался в нашу квартиру на Станкевича. Он приходил с отцом после репетиции, взгромождался на стул, сгребал поближе к себе валявшиеся кругом книги и утыкался в какую-нибудь из них своими совершенно слепыми глазами. Напялив огромные, как бинокли, очки, он зачитывал вслух наиболее забавные места.

— Смотрите, дорогой Соломон Михайлович, что нам говорит Катон: «Во всем мире мужья повелевают женами, всем миром повелеваем мы, а нами повелевают наши жены», — верно подмечено, а? — и он, довольно хихикая, потирал свои коротенькие ручки.

—Ну мы-то с вами сами просили их нами повелевать,— ответил папа.

Несмотря на комичность фигуры, крошечный рост и полуслепые глаза, Дейч пользовался большим успехом у женщин. На моей памяти он был женат, как минимум, раза три.

На единственном в нашей комнате столе лежали кипы книг, стояли чашки с кофе, валялись черные с зеленым пачки папирос» Герцеговина Флер».

Когда мама вносила в комнату на подносе тарелки с супом, то книги сдвигались в сторону, и трапеза происходила на уголке стола. Однако застольные беседы не делались от житейских неудобств менее увлекательными.

Если маленький Дейч прекрасно смотрелся в комнате, служившей моим родителям одновременно спальней, кабинетом и столовой, то художник Фальк выглядел у нас как Гулливер в стране лилипутов. Он был огромный, тихий, добрый, с печальным лицом и стыдливой улыбкой. Он был наделен редкой способностью слушать и понимать собеседника, сам же он был немногословен, говорил тихим, шелестящим, как бы извиняющимся голосом. Одна моя знакомая сказала как-то: «твой папа всегда говорит мыслями». Именно так говорил Фальк. По дурости, малолетству и легкомыслию я не вела дневников и записных книжек, да и уровень тогдашних бесед мне казался нормой — «говорить мыслями» было естественным для людей того времени и того круга.

В перерывах между репетициями они появлялись с папой в дверях его кабинета: папа стремительной походкой направлялся к телефону, а за ним, шаркая и косолапя, пробирался между стульями, полками, столами и буфетами Роберт Рафаилович Фальк. Ему было тесно даже в казавшемся мне тогда огромным

кабинетном кресле в углу комнаты, в которое он усаживался со словами:

«только не обращайте на меня внимания, Соломон Михайлович». Затем он вытаскивал из портфеля школьную тетрадь для рисования, и принимался делать бесчисленные наброски для папиного портрета.

Над портретом Михоэлса Фальк работал много лет. Бросал, возвращался, начинал заново, снова бросал. **В** своей книге» Люди, годы, жизнь» И. Эренбург пишет:«… Писателю потребовались бы тома, чтобы рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом: лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, дум, пластическая биография». Пожалуй, «пластическая биография» — определение наиболее соответствующее живописной концепции Фальковских портретов. Он сам как-то на вопрос, почему все его портреты написаны анфас, ответил: «Да ведь профиль это то, что дано человеку от природы, а фас — есть результат того, что жизнь сделала с человеком или он сам сумел из себя сделать».

Такой философско — пластической биографией был портрет Михоэлса, написанный Фальком. Когда в 1928 году театр поехал в заграничные гастроли, Фальк, сделавший оформление к таким спектаклям, как» Ночь на старом рынке» и»Путешествие Вениамина III», отправился вместе со всеми и оставался в Париже до 1937 года. Первое, что сказал папа, услышав что из Парижа приехал Фальк, было: «Нашел время возвращаться!«Но по закону» антилогики», господствующей там во всем, кривая архипелага обошла его.

В сорок девятом году, когда возобновилась волна массовых арестов, Роберт Рафаилович, уверенный что на этот раз ему не избежать общей участи, стал придумывать способ, как спасти портрет отца. Его и моя подруга Майя Левидова рассказывала, сколько вариантов он отверг, прежде чем решил замазать полотно маслом — «когда придет время, отмоем!«И он, действительно, отмыл, когда» пришло время» и подарил портрет папиной жене Асе.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕНИАМИНА Ш

В двадцать седьмом году Фальк приступил к оформлению спектакля» Путешествие Вениамина III» по Менделе Мойхер — Сфориму.

История Вениамина такова: в еврейском местечке живут два бедняка — Вениамин и Сендерл. Мечтатели и чудаки. Венимамин рвется совершить паломничество в страну счастья и справедливости, о которой он где-то слыхал. Но, когда он пытается рассказать о своей мечте, люди над ним только смеются. Один лишь Сендерл слушает его, верит ему и готов его сопровождать. Однажды ночью, тайком от жен, они покидают опостылевшую Тунеядовку, отправляются искать заветную страну. Они плутают по незнакомым дорогам, их обворовывают, и, оставшись без гроша, Вениамин и Сендерл засыпают, вконец измученные, на голых лавках жалкой харчевни. Во сне они видят, будто попали в благословенную страну, просыпаются… и обнаруживают, что не покидали свою Тунеядовку.

Я помню два ветхих домика, расположенных по обеим сторонам сцены, крыши которых разрисованы клопами и тараканами, скамеечки под каждым окошком, а вдали на горизонте поднимается огромная желтая луна.

Заснув на скамейках, путешественники видят сон, что они уже попали в обетованную страну. Теперь над домиками вместо березок высятся пальмы, а толпа бедняков, встреченных по дороге, превратилась в полководцев и воинов, одетых в фантастические костюмы.

По поводу грима у папы с Фальком было много споров. На эскизе Фалька Вениамин был рыжий. «А я думаю, что у него седая бородка и волос под ермолкой вообще не видно», — упорствовал Михоэлс и, потихоньку от Фалька, приклеил себе седую бородку. «Да, должен признаться, вы правы, Соломон Михайлович», — со своей кроткой улыбкой ответил Фальк. Костюм он просил сделать так, чтобы» было тесно в плечах, будто хочется полететь, а крылья обрезаны».

Эти» подрезанные крылья» ощущались во всем его облике — в полусогнутых, почти прижатых к бедрам руках, которые беспомощно вскидывались, когда он говорил, в осторожной неуверенной поступи, в испуганно — любопытном взгляде, устремленном в» очарованную даль».

Сендерл — Зускин был как бы логическим продолжением образа Вениамина — Михоэлса. Только графически образ его был решен иначе: Вениамин — активное начало, носитель идеи

устремленной ввысь. Вертикаль. Сендерл — преданный, покорный, подчиняющийся, пассивный. Весь вниз, вширь, горизонтальная линия. Они действительно сумели добиться этого эффекта — высокий в жизни Зускин смотрелся низкорослым широким Сендерлом рядом с вытянутым вверх Вениамином.

Идеи идентичности этих двух образов, подрезанных крыльев как символа неосуществимости поэтической мечты, целиком принадлежала Михоэлсу. Не случайно он так часто в своих беседах с актерами возвращался к вопросу» авторства» актера. Подходя к роли, он прежде всего искал ее образное выражение, адекватное выраженному словами замыслу автора.

«Изможденный, худой, почти прозрачный, с продолговатым лицом подвижника — мечтателя и фантаста, беспокойный и задумчивый, смешной и трогательный, трагичный и нелепый, затхлый человек средневекового гетто и свободный гражданин Вселенной, Вениамин Михоэлса представляет собой вершину театрального истолкования еврейской классики», — писал один из крупнейших театральных критиков Павел Новицкий.

Когда я слушаю старенькую заезженную пластинку» Дуэт Вениамина и Сендерла», передо мной, как на кинопленке, разворачиваются сценки из спектакля. Вот они появляются вдвоем, приставив ладонь козырьком ко лбу, как бы вглядываясь в незнакомую, влекущую даль — один в черном драненьком, узковатом в плечах капоте, в ермолке, с задранной вверх, реденькой, перевязанной веревочкой — «чтоб не трепалась в пути» — бородкой. Другой — в сером, мешковатом, по — бабьи подвязанном балахоне, на кривых ногах, доверчиво идущий за другом. Это был один образ в двух его аспектах — Вениамин воплощал дух, а Сендерл — баба плоть наивного мечтателя. Приключения их жизни были глупы и ничтожны, а приключения души — возвышенны и трагичны.

Я пытаюсь пересказать роль. Но, повторяю, можно ли» пересказать» картину, музыку, стихотворение? Но произведения живописи, музыка, поэзия остаются в веках, а актерский труд умирает вместе с актером, как бы велик он ни был.

По свидетельствам театральных критиков тех лет, «наутро, после премьеры» Вениамина», Михоэлс проснулся знаменитым». Он стал настоящим любимцем публики. Евреи и неевреи потянулись в Госет. Спектакль приходили смотреть по много раз. С этого момента Михоэлс в значительной мере определил интерес к театру и его успех. Однако, во внутренней субординации это еще ничего не меняло. Грановский продолжал все так же властно вести театр, а Михоэлс все так же послушничал. Но установилось некое неписаное, но твердое

распределение ролей: театром руководил Грановский, актерами — Михоэлс.

Этот спектакль был триумфом Михоэлса и Зускина. Неповторимый дуэт, продолжавшийся до их трагического конца, нашел в» Вениамине» свое наивысшее воплощение.

ИСТОРИЯ АРХИВА

В двадцать восьмом году театр поехал в гастрольную поездку по городам Европы. Не знаю какими соображениями руководствовался Грановский, не взяв в заграничное турне этот великолепный спектакль.

Гастроли проходили с огромным успехом. Макс Рейнгардт, Жан — Ришар Блок, Георгий Адамович и многие другие с восторгом писали о блестящих постановках Грановского, о четкой, отточенной работе всей труппы, о необыкновенном мастерстве и своеобразной творческой индивидуальности Михоэлса и Зускина. В Берлине была издана книга, посвященная Московскому Госету, в которой были собраны статьи крупнейших театральных критиков Запада о нашем театре.

Успех этот вызвал тревогу советских властей.

Мне удалось привезти несколько газетных вырезок, связанных с работой театра заграницей. Их подарила актриса нашего театра Рахель Именитова, за что я ей чрезвычайно признательна. А наш архив имел свою судьбу.

Вскоре после гибели отца, меня назначили директором музея его имени, который мы решили расположить в театре, в его кабинете и приемной. Все фотографии, хранившиеся дома, о существовании которых я и не подозревала, все рецензии, собранные мамой и тетей (папа рецензий никогда не хранил, никогда не дорожил газетной славой, и сколько я ни просила его присылать вырезки из гастрольных поездок, он клятвенно обещал, но присылать забывал); все стенограммы выступлений, которые мы предусмотрительно вытаскивали из его карманов и бросали в старый деревянный сундук — все это я стала переносить в театр, чтобы сконцентрировать в одном месте, создать настоящий музей, где будет жить его дух.

Театр недолго просуществовал без Михоэлса. В начале сорок девятого года, когда в газетах только начали появляться статьи о» безродных космополитах, внедрившихся в русскую культуру», я пришла, как обычно, в театр и увидела на дверях папиного кабинета огромный красный плакат с надписью» Агитпункт».

В первый момент я даже не поняла в чем дело и отправилась к директору.

— Неужели нет другого места для агитпункта? — наивно спросила я.

— Потребовали именно кабинет Соломона Михайловича, — уклончиво ответил он.

— А где архив?

— Все материалы мы отправили в Бахрушинский музей. Я задохнулась от неожиданности и негодования. Как они могли? Без предупреждения, не сказав ни слова? Оправившись от первого шока, я бросилась обратно в кабинет посмотреть, осталось ли там что-нибудь.

Некоторые фотографии еще были на месте. С этого дня я являлась на работу лишь для того, чтобы унести, спасти оставшиеся фотографии. (Кроме фотографий я уже ничего там не обнаружила — ни стенограмм, ни рецензий.) Я приходила в театр, крутилась по кулисам, по залу, а затем, надев пальто, с независимым видом проскальзывала в кабинет, и, всунув несколько фотографий за пазуху, отправлялась домой. К этому времени мы уже были под наблюдением. Дома, на лестнице стояла парочка и тихо переговаривалась, но стоило нам выйти из квартиры, как парочка разделялась, и один оставался караулить на лестнице, а другой следовал за нами.

Каждый раз, выходя из театра, я не была уверена, что донесу свою ношу домой, да и дома оставлять снимки становилось небезопасно. Но кому я могла передать спасенные фотографии? Друзья сами были в опасности, их количество таяло на глазах. А за остальных нельзя было поручиться. Так прошло месяца три. Затем театр закрыли.

Много лет подряд я видела один и тот же сон, будто я блуждаю но опустевшим кулисам, прислушиваюсь к шороху шевелящихся от ветра старых афиш и, усевшись на ступеньки, ведущие на сцену, плачу, плачу, плачу…

Но наяву я тогда не плакала.

Прошло четыре года. Слежка за нами не прекращалась, а скорее усиливалась. 13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня папиной гибели, меня разбудил телефонный звонок. Ася просила меня немедленно спуститься к ней.

— Теперь уже никогда не забудут этот день, — сказала она, протягивая мне» Правду».

В сообщении ТАСС говорилось, что с помощью некоей Лидии Тимащук разоблачена целая группа врачей — убийц. Почетная роль главного убийцы была предоставлена моему дяде Мирону Семеновичу Вовси — в недавнем прошлом главному терапевту Красной Армии, выдающемуся врачу и диагносту. А мой отец — «буржуазный националист и агент Джойнта» Михоэлс, как выяснилось из сообщения ТАСС, передавал дяде указания этого самого Джойнта, кого следует убить из членов правительства.

Через две недели после этого сообщения, у нас дома состоялся обыск, длившийся около суток, после чего дома не осталось ни одной бумажки.

— Вы знаете, что это такое? — грозно спросил нас с сестрой гебешник, суя под нос книгу Ленина» Еврейский вопрос в России».

— А что, Ленина тоже держать запрещается? — изумились мы.

— Это националистическая литература!

И он отложил книгу к конфискуемым бумагам. Среди» опасных» документов были, кстати, рисунки моей семилетней дочери.

Когда они, наконец, отбыли, дом выглядел как после погрома. Правда, обшаривая полки, стены и антресоли, они вежливо просили подложить на стул, на который влезали, «газетку, чтоб не запачкать». Но это, видимо, полагалось по инструкции.

Спустя некоторое время мы узнали, что в Бахрушинском музее был пожар. Но он коснулся, странным образом, только трех архивов — Мейерхольда, Таирова и Михоэлса. Архивы Большого, МХАТа и других театров благонамеренно покоились на своих местах и счастливо избежали этой участи.

Лишь в 1956 году, когда меня пригласили в Бахрушинский музей разобраться в уцелевшем материале, я увидела результаты этого пожарища. В подвале, на полу валялись обгоревшие и ссохшиеся фото. Ни рукописей, ни рецензий спасти не удалось. Обгоревшие снимки, которые мне удалось оттуда забрать, я привезла с собой в Израиль.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕАТРА ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ ГАСТРОЛЕЙ

Итак, одна из газетных вырезок красноречиво говорит о той тревоге, которую вызвал у властей успех Госета за границей. Приведу фрагменты из статьи» Факты и перспективы», напечатанной в» Известиях»6 октября 1928 года.

«Государственный Еврейский театр под управлением Грановского совершает в настоящее время заграничное турне. Успех его можно назвать смешанным. С одной стороны, нет никакого сомнения, что и пресса и значительная часть публики всюду, где появляется театр, приветствуют его тонкое и острое искусство, с другой стороны, некоторые газеты — часть буржуазной и даже эмигрантской печати — всячески стараются ослабить политическое значение этого успеха, заявляя, что в театре нет и следа какой бы то ни было советской идеологии, что это театр чужеродный у нас и непоказательный для подлинного лица нашего театра.

К сожалению, руководители Еврейского театра, по — видимому, не сделали всего, что им предписывал прямой советский долг, для того чтобы резко опровергнуть такого рода ложные суждения и подчеркнуть свою коренную принадлежность именно к советскому театру, о чем мы так часто слышали от них здесь, в Москве.

Материальный успех театра тоже не выяснен. Почти одновременно руководители театра докладывают о том, что поездка безубыточна, и поэтому может быть продолжена и о том, что она привела к значительной задолженности, для покрытия которой должно быть продолжено турне по Америке.

Все это вместе, и наличие целого ряда других фактов не дает Наркомпросу возможности с совершенной уверенностью сказать, каков будет дальнейший путь театра: будет ли он вызван немедленно в Москву, или ему будет дано разрешение продолжить поездку. Для выяснения этих обстоятельств Наркомпрос посылает за границу доверенное лицо, которому поручает с совершенной точностью выяснить как политико — идеологическую, так и финансовую сторону нынешнего состояния Еврейского театра. А. Луначарский».

К сожалению, когда мне впервые довелось прочесть эту заметку, уже не у кого было выяснять, что подразумевалось под туманными намеками Луначарского, кто был» доверенным лицом» и к каким выводам оно, это» лицо», пришло.

Мне же вспоминается только волнение, царившее в доме на Станкевича, когда ждали возвращения труппы.

Пахло пирогами и палеными волосами (по моде того времени, их накручивали на горячие щипцы), жареным мясом и дешевым одеколоном — женщины завивались, наряжались и варили, готовясь встретить своих мужей, возвращающихся из первой заграничной поездки.

Грановский с театром не вернулся. В газетах стали появляться статьи с нападками в его адрес. Отцу, возглавившему театр после возвращения из заграницы, надо было на эти нападки отвечать.

Если Солженицын утверждает, что потоки на Архипелаг ГУЛаг не прекращались с первых дней революции, то в 1929 году они приняли массовый характер — началось раскулачивание.

Естественно, что в вопросе арестов не существовало ограничений, и любой неосторожный шаг мог привести к катастрофе. Тем более, если этот шаг сопряжен с защитой» невозвращенца» — человека, не пожелавшего вернуться в СССР.

Один из ответов отца и отклики на него со стороны редакции мне бы хотелось привести здесь.

«Рабочий и искусство». 30 сентября 1929 г. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ Уважаемый товарищ редактор!

Позвольте через посредство Вашей газеты ответить товарищам рецензентам, отозвавшимся на последнюю работу Госета» Суд идет» в постановке молодого талантливого Каверина.

Я рад, что работа товарища Каверина в нашем театре встретила единодушную, достойную положительную оценку. Тем более становится непонятным тот тон, совершенно недопустимый, а иногда и возмутительный (И. Туркельтайб), который приняли означенные товарищи в отношении основателя Госета, мастера, товарища Грановского.

Правда, товарища Грановского сейчас нет в Москве — он временно в Берлине. Это, конечно, дает повод для выражения неудовольствия, даже негодования по случаю его отсутствия, но товарищам рецензентам это открыло совершенно иную возможность — возможность доходить до оскорбительных и недопустимых выпадов по его адресу, очевидно в уверенности, что это может остаться безнаказанным.

Товарищ Грановский остался в Берлине временно (см. «Известия ВЦИК» от 26 октября сего года). А за время его отсутствия так удобно уничтожить значение его огромной работы, так легко на месте высокой цифры, обозначающей его заслуги, тихонечко и зло зачеркнуть единицу, оставив лишь сплошные нули. И действительно, еще недавно рецензенты» Вечерней

Москвы» находили множество патетических слов для оценки высокого мастерства Госета и его руководителя товарища Грановского… И вдруг, на страницах той же» Вечерней Москвы» — «штампы Госета», «игры по Грановскому» и другие замечания и советы, как актеру, учившемуся у своего мастера в течение десяти лет, легче всего освободиться от преподанной ему определенной сценической системы.

Нет, товарищи, Госет… был создан Грановским. Благодаря ему театр приобрел свой стиль, свое лицо, свой собственный театральный язык. Можно быть какого угодно мнения о Госете и его основателе, но нельзя с безответственной циничной легкостью сводить на нет десятилетнюю работу театра и его мастера, ибо эта работа есть огромное достижение советской культуры, и, как таковое, она зафиксирована не только в СССР, но и расценивается далеко за пределами Союза. Если этого некоторые рецензенты — однодневки не понимают, я вынужден это сказать.

С. Михоэлс».

От редакции. Помещая полностью несколько необычное как по тону, так и по содержанию письмо С. Михо- элса, редакция оставляет целиком на ответственности автора как отдельные сообщаемые в письме факты, так и резкие оценки отдельных рецензий…»

Я не буду давать оценок папиному выступлению в защиту Грановского — те, кто знаком с советской действительностью, сами понимают, насколько рискованна была эта игра с огнем. Но так уж был он устроен, что даже в самые страшные времена, любые его поступки продиктованы были велением совести. Человек он импульсивный, но кто ж давал волю импульсам?! Скорее всего это называлось честностью — понятие устаревшее в наши дни.

* * *

Примерно в это же время я заболела скарлатиной. Так как большинство москвичей жили в общих квартирах, то детей, заболевших инфекционным заболеванием немедленно отправляли в больницу — чтобы не разносили заразу по соседям.

Мои родители решили сделать все, чтобы оставить меня дома. В комнате тети поместили мою младшую сестру. Тетя была тяжелая ипохондричка, но свято верила в» изоляцию» и»дезинфекцию». Она безвыходно просидела все шесть недель с Ниной у себя в комнате. Нину одевали как на прогулку, открывали настежь окна и она, бедняжка, выглядывая во двор,

громко оповещала: «Я опять гуляю по той же улице!«Мама неотлучно находилась при мне, а в третьей комнате поселилась мамина подруга Ольга Ивановна, добровольно заточившая себя на все шесть недель карантина.

Просыпаясь по ночам, я видела у своей постели папу в белом халате. Он проникал в мою комнату только в часы, когда его никто не видел — в противном случае он, нарушая строгие правила карантина, мог навлечь на всех нас неприятности. Они с мамой сидели возле меня и тихо разговаривали. Стоило мне пошевельнуться, как папа немедленно придумывал всякий раз новую увлекательную игру, например, разрезной цирк — с ареной, наездницами, крутящейся сценой, ложей с нарядными дамами, — все это немедленно начинали вырезать и клеить, хотя дело происходило глубокой ночью. Я помню, что специально неправильно склеивала, и придумывала всякие хитрости, чтобы подольше папу задержать, но он и не торопился, был увлечен не меньше меня и на ходу придумывал увлекательнейший сценарий. Мне было весело и интересно, я любовалась его ласковым лицом, его улыбкой, родинкой над губой, но вдруг лицо его становилось странно отчужденным, он весь подтягивался и, быстро поцеловав меня и маму, на цьпочках, приложив палец к губам, чтобы я молчала, выходил из комнаты. Мама грустнела, а я прекрасно видела, как она старается скрыть от меня свою печаль. Эта домашняя идиллия больше никогда не повторялась. Но об этом позже.

ТАИРОВ

За первое десятилетие существования Госета отец завоевал любовь зрителей и интерес лучших актеров и режиссеров других театров. Его буквально рвали на части. Театральная жизнь Москвы тех лет была насыщенной и яркой; в свободные от спектаклей вечера он посещал премьеры и просмотры, а порой и репетиции по просьбе кого-нибудь из режиссеров.

Из всех существовавших тогда театров, ближе всех по духу был ему Камерный театр под руководством Таирова, находившийся неподалеку от Малой Бронной.

Александр Яковлевич Таиров, один из самых интеллигентных и мыслящих режиссеров того богатого разными театральными течениями времени, был вечной мишенью для официальной критики. Он постоянно обвинялся в эстетстве, формализме и прочих смертных грехах. Отец болезненно реагировал на жестокие выпады в адрес Александра Яковлевича, которого

ценил, любил и с чьим мнением очень считался.

В ноябре 1936 года в центральной прессе появилась разгромная статья по поводу спектакля» Богатыри» в постановке Таирова.

Пробежав глазами утреннюю газету, отец скомкал ее в раздражении, швырнул на пол и попросил, чтобы я соединила его с Таировым.

Когда я передала трубку, глаза его засветились теплом, а в голосе зазвучала та особая ласковая интонация, которая так успокаивала меня в минуту огорчений.

— Здравствуйте, Александр Яковлевич! Это я, Михоэлс. Вот почитал газетку и решил позвонить. Завтра на обсуждении увидимся. Привет Алисе Георгиевне.

Назавтра, на заседании художественного совета, все присутствующие наперебой клеймили, хаяли, осуждали Таирова и спектакль в целом, и автора пьесы Демьяна Бедного. В самый разгар травли слово взял Михоэлс.

— Если так плохо, как все это признают — значит, произошла ошибка. Но кто ошибся, неужели один Александр Яковлевич? Нет. Значит, и я проглядел ошибку. Я, который работает рядом с ним, живет рядом с ним, я, который вовремя не увидел, не тронул за руку, не обратил внимания на неудачи в работе. Значит, ошибка не только его, но и моя.

Привести полностью это выступление я, к сожалению, не могу, ибо у папы, как я уже говорила, не было обыкновения записывать заранее свои речи, и у меня сохранились, и то каким-то чудом, лишь отдельные наброски.

Попытка Михоэлса отвлечь на себя внимание взбесившихся творческих работников настолько их ошеломили, что заседание как-то само собой быстро закончилось и присутствующие разбежались по домам. Папа же, который вечно спешил, да и вообще не терпел» прогулок», предложил Таирову пройтись пешочком, чтобы» помочь ему очухаться», и они еще долго бродили по улицам Москвы.

Вечером Таиров позвонил: «Позови папу, я хочу пожать его благородную руку».

Недавно я рассказывала друзьям о дружбе Михоэлса и Таирова, о том, как каждый называл другого» своей совестью», как часто их можно было встретить поздней ночью на темных аллеях Тверского бульвара и, в частности, об этом эпизоде с» Богатырями». Один из знакомых, с интересом выслушав мой рассказ, сказал, что буквально на днях, случайно наткнулся на заметку в» Правде» именно по поводу выступления Михоэлса о» Богатырях». Вскоре он прислал мне вырезку из газеты. Вот она

слово в слово.

«23 ноября 1936 года состоялось совещание театральных деятелей и актеров по вопросу пьесы» Богатыри», поставленной в Камерном театре — художественный руководитель Таиров.

«Народный артист Михоэлс задал вопрос: почему театр докатился до такого позорного провала? Товарищ Михоэлс ответил на это так — нет настоящей, бдительной, умной критики, а между актерами нет творческой спайки.

«Если прибавить к этому интеллигентские шатания и расхлябанность, свойственные Таирову, безобразные отношения между актерами и режиссером, отсутствие какой бы то ни было самокритики, и все это в соединении с самолюбованием и дешевой саморекламой, то причины падения Таирова и Камерного театра станут ясны.

С «покаянной» речью выступил Таиров».

«Правда», 24 ноября 1936 года № 323

Если не считать» бегемотский» язык, который вложила» Правда» в уста Михоэлса, то в остальном никого из нас не удивило несоответствие между моим рассказом и этой заметкой. Дезинформация — основа советской печати. «Настоящее теряет значение, если факты поддаются обработке и могут быть поднесены себе и другим в любом виде», — пишет Надежда Мандельштам.

В 1929 году редакция, не будучи согласна с автором, еще сочла возможным, тем не менее, напечатать его мнение по поводу Грановского. К тридцать шестому году работа по искоренению личного мнения была закончена, и если таковое все-таки существовало, то оно не освещалось в печати.

Вполне возможно, что отец или сам Таиров обратились в газету с опровержением, уверенные, что оно не увидит света, а может быть, пожали плечами и скомкали ее, как папа неоднократно это проделывал.

Через двадцать с лишним лет Госет и Камерный театры были ликвидированы почти одновременно, а Михоэлс и Таиров погибли насильственной смертью, хотя Таиров, в отличие от Михоэлса, и умер в своей постели.

Слух о предстоящем закрытии Камерного театра разнесся мгновенно.

Вся театральная Москва, все остатки московской интеллигенции пришли 30 мая 1949 года попрощаться с Камерным театром. Свой блестящий жизненный путь театр завершил спектаклем» Адриенна Лекуврер» — одной из самых сверкающих и талантливых своих постановок. Зрители, из которых многие присутствовали на премьере» Адриенны

Лекуврер», торжественно приветствовали появление Алисы Коонен — жены Таирова и одной из лучших трагических актрис русского театра.

После окончания спектакля зрительный зал встал и молча аплодировал в течение пятнадцати минут. Это была единственная возможная форма демонстрации против варварского в своей бессмысленности решения закрыть один из лучших театров Москвы.

В этот вечер Таиров оставался безвыходно в своем кабинете. Он не вышел на сцену, несмотря на молчаливые призывы публики. Лишь после того, как навсегда сдвинулись тяжелые края занавеса, безмолвные потоки зрителей хлынули к кулисам, чтобы пожать Таирову на прощание руку. Все это скорее напоминало похоронную процессию, крематорий, прощание с покойником, чем закрытие театра. День закрытия Камерного театра был черным днем для всей российской культуры.

После закрытия театра Таирова часто можно было встретить на Тверском бульваре. Он прогуливался вдоль здания бывшего Камерного, которое ремонтировалось в соответствии со вкусами будущего руководителя. Намечалось открытие нового Пушкинского театра в помещении Камерного. В один из таких дней его видели стоящим напротив театра. Не отрывая глаз, смотрел Таиров, как рабочие стаскивают вывеску Камерного театра. По лицу его катились слезы.

Спустя некоторое время он стал заговариваться, а ровно через год после закрытия Таиров умер от множественного разрыва мозговых сосудов.

Конец Таирова логически завершил историю существования и закрытия Камерного театра.

ПЕРЕЦ МАРКИШ

Но я забежала вперед на двадцать лет. Правда в 1929 году уже намечался спад русского театра — начиналась коллективизация, и лозунг, провозглашенный Сталиным» об обострении классовой борьбы», сказался весьма отрицательно на всех видах искусства, но надзор за культурой еще не принял того размаха, которого он достиг через двадцать лет.

Однако вопрос о советизации репертуара обострился, и к Михоэлсу — новому художественному руководителю Госета, наперебой ринулись драматурги со своими пьесами.

Как-то раз я проснулась от непривычно громких голосов, доносящихся из маминой комнаты. Тихонечко приоткрыв дверь, я увидела Маркиша. Он стоял, закинув назад свою ослепительной красоты голову, поставив одну ногу на стул — казалось, вот — вот взберется на него, и что-то читал, жестикулируя в такт каждому слову. Детская память сделала моментальную фотографию и неправдоподобно красивый Маркиш так навсегда и запомнился мне живой скульптурой, взбирающейся на стул — пьедестал.

Рядом, на маленьком диване, сидел папа с папиросой в руках и внимательно, с чуть заметной довольной улыбкой слушал его чтение. Комната утопала в голубоватом табачном дыму. Кажется, Маркиш читал тогда пьесу» Земля» или на идише» Нит гедайгет». Ставить должны были ее отец вместе с режиссером С. Радловым.

Работа над спектаклем протекала очень бурно. Маркиш, как всякий автор, категорически возражал против любых сокращений текста, а пьеса, как всякая пьеса, страдала избытком слов, и для успеха спектакля нуждалась в сокращениях. Я спектакля так и не видела и критика на него не сохранилась, поэтому ничего, кроме громких споров, мне не запомнилось.

Их споры были неистовые, как и их темперамент. Маркиш кипел, рычал, убеждал, отвоевывая любое слово. Иногда, скрежеща зубами, соглашался с каким-нибудь сокращением, иногда, рассвирепев, убегал, захватив с собой рукопись.

Папа тоже свирепел, стучал кулаками, метался по крохотной комнате, рассыпая пепел, где попало, а затем бросался к телефону, с тем чтобы снова встретиться и снова спорить…

Но их споры, вернее сражения, — ибо они были, конечно, дуэлянтами, а не спорщиками, по какому бы поводу эти споры ни происходили, всегда были проникнуты чувством глубокого взаимного уважения.

С той же страстностью, с которой Маркиш отстаивал слово в

своих пьесах, он отстаивает право Михоэлса на борьбу со словом в своей статье» Ощущение писателя». «Не будет парадоксом, если мы скажем, что артистическая» война» Михоэлса со словом была высшим выражением его любви и благоволения к нему.

… Как же Михоэлс» боролся» со словом?

Всем своим арсеналом пластических выразительных средств: поразительно тихим взрывающим беспокойством, когда из каждой поры пышет бурный темперамент, когда каждая черточка лица, оставаясь на месте, пробегает колоссальные расстояния; тем, что называется мимикой, своей необычайной экспрессивностью и тончайшим графическим рисунком движения и голоса — всем богатством этих средств он окружил слово, как питательной воздушной средой».

Папа часто говорил, что у людей мироощущение восприятие — первично, а мировоззрение — осмысление — вторично. Именно мироощущение объединяло Михоэлса и Маркиша. Оно не было, разумеется, тождественным, ибо каждый являлся слишком яркой индивидуальностью, но образное и масштабное восприятие действительности было свойственно им обоим в равной степени.

Однако, главное, что объединяло их безоговорочно — это любовь к своему народу, глубокая, страстная, гордая, а в последние годы их жизни окрашенная горечью и болью.

* * *

Приняв на себя художественное руководством театром, Михоэлс поначалу приглашал режиссеров со стороны. Сам он к самостоятельной постановке еще не считал себя готовым. Но труппа Госета вечно упрекала его в том, что он» не думает о режиссерских кадрах», видимо считая, что в ее недрах зарыты гиганты режиссерской мысли. Дальнейшее показало, что никто из актеров с режиссерской работой справиться не мог.

Вообще, надо заметить, что актеры при жизни Михоэлса, недооценивали его личность, были к нему в вечной претензии, давали свои, отнюдь не беспристрастные советы, надолго обижались, что он их не слушает.

Когда я вспоминаю, как папа возвращался домой расстроенный и порой обескураженный незаслуженными обвинениями в свой адрес, приходит на память известное изречение: «Нет пророков в своем отечестве». Особенно у евреев. Не случайно Саша Тышлер писал в своих воспоминаниях: «Врагов, по моим наблюдениям, у Михоэлса было гораздо больше среди евреев».

Зато актеры и режиссеры других театров писали и говорили о Михоэлсе, как о самом» беспокойном и мыслящем актере современности» и с радостью шли к нему работать.

Первым спектаклем после возвращения из-за границы был» Глухой» Давида Мендельсона, с которым папу связывала давняя и глубокая дружба.

Михоэлс считал Мендельсона лучшим из современных еврейских писателей — прозаиков, и часто говорил, что ставит его на четвертое место после классиков — Менделе — Мойхер Сфориму, И.— Л. Переца и Шолом — Алейхема.

16 января 1948 года, стоя над гробом отца в крематории, Бергельсон произнес: «Ты называл меня четвертым классиком, но поистине им являешься ты…» По общему мнению, Михоэлс был наравне с драматургом, автором своего образа.

«Глухой» довольно долго продержался в репертуаре театра, и я не пропустила ни одного спектакля. Мне кажется, что это одна из лучших работ отца.

В 1946 году в помещении нашего театра состоялся творческий вечер Бергельсона. После вступительных слов, выступлений писателей, приветствий и чтения отрывков из произведений, папа и Зускин сыграли отрывок из» Глухого». Последние слова напоминали рычание затравленного зверя — в роли» Глухого» было лишь тридцать слов. Замерший зал разразился громом рукоплесканий.

Я сидела не в состоянии пошевелиться.

Бывают в жизни минуты прозрения, когда перед нами с беспощадной ясностью на мгновение открывается будущее. Глядя, как папа в роли Глухого, как бы мучительно вслушивается в себя, а его рука с короткими выразительными пальцами словно извлекает из уха звук — я вдруг ощутила, что больше никогда этого не увижу. Я почувствовала, что папы скоро не станет. Меня охватила дрожь. Вокруг неистовствовал зал, а я продолжала сидеть в оцепенении. Когда мы, наконец, зашли за кулисы, мой муж, не понимая причины моего состояния, сказал: «Я себе желаю, Соломон Михайлович, чтобы моя дочь любила меня так же, как ваша любит вас».

Ставить» Глухого» Михоэлс пригласил С. Радлова.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

Если режиссеров можно было приглашать со стороны, то состав актеров мог пополниться только еврейской молодежью.

В 1929–1930 году была создана еврейская театральная студия на базе Госета.

Летом, когда театр выезжал на гастроли по городам Украины и Белоруссии, в местных газетах печатались объявления о наборе в театральную студию.

Еврейская молодежь из маленьких городов бывшего гетто с нетерпением ожидала приезда труппы Госета, чтобы попробовать свои силы в заманчивой профессии актера. Некоторые из них потом рассказывали, что не подозревали о существовании Еврейского театра, знали только имя Михоэлса.

Приемная комиссия состояла из ведущих актеров, директора студии и музыкального руководителя.

У стола с неизменным графином и зеленым сукном усаживалось жюри и экзамен начинался. Ребята выступали по очереди перед комиссией.

Однажды появилась на экзамене пухлая, вся в завитушках, коротконогая девица.

—Как тебя зовут?

—Хая Паршивая.

В зале смешки. У Михоэлса тоже смешинки в глазах, но он продолжает совершенно серьезно:

—Что ты умеешь делать, Хая Паршивая?

—Делать сцены, — басом отвечает Хая.

—Как… делать сцены?..

—А я покажу!

Хая решительно взбирается на импровизированную эстраду и оттуда картаво и хрипло исполняет к полному изумлению присутствующих» Широка страна моя родная!»

В зале хохот, все глаза обращены к папе, который веселится больше всех.

В Пинске или Житомире приходит экзаменоваться молодой человек артистической наружности.

—Как твое имя?

—Лева.

—Почему, Лева, ты хочешь стать актером?

—Потому что они-таки поздно встают.

В зале взрыв хохота, но на этот **раз** чувство юмора почему-то изменяет Михоэлсу.

—Вон!— кричит он. — Актеры работают, они поздно ложатся,

но встают они рано! Актеры никогда не высыпаются! Тебе здесь нечего делать!

И совершенно сбитый с толку Лева быстро ретируется.

Хотя подобные курьезы случались нередко, однако из 150–200 экзаменующихся человек двадцать действительно обладали актерскими данными и всерьез хотели учиться. Все они — первый набор Студии — впоследствии целиком влились в труппу Госета.

С первого же года некоторые из них стали постоянно бывать у нас дома на правах домочадцев.

Так появился милейший человек, тихий и скромный — беженец из Польши (тогда это было еще довольно редким явлением) по фамилии Диамант. Он приходил ежедневно с папой и без него, водил нас гулять, помогал в домашних делах, и был при этом чрезвычайно деликатен и ненавязчив. Большими актерскими способностями Диамант, насколько я помню, не обладал, но был в Москве настолько несчастен и одинок, что папа из сочувствия ввел его в наш беспорядочный и сердечный дом.

Когда мы переехали со Станкевича на Тверской бульвар, отец добился, чтобы одну из наших комнат передали Диаманту, так как тот до сих пор ютился в одной из мужских гримерных театра.

Как-то осенью славного 1937 года Нина прямо из школы забежала на Станкевича за Диамантом, чтобы вместе идти домой и увидела, как его, с полотенцем в руках — видно, вытащили прямо из ванной, ведут по длинному темному коридору. Она бросилась к Диаманту, но дверь одной из комнат неожиданно отворилась и заботливая рука затащила ее внутрь: одна соседка, видевшая, что пришли забирать Диаманта, испугалась за Нину.

Его сначала отвезли в театр, где я мельком видела, что он поднимается по лестнице, как мне показалось, с заложенными за спину руками. Вероятно, имелось в виду обыскать помещение, где он жил до переезда на Станкевича.

Брали его днем, пренебрегая нашей незыблемой и непонятно на чем основанной вере, что» берут только ночью». Больше мы ничего не слышали об этом беззащитном и грустном человеке, хотя папа много раз обращался с запросами в соответствующие инстанции.

Совсем иным был молодой лихой красавец Миша Ш. — кумир парикмахерш и продавщиц. Примерно в 1931 году Мишу мобилизовали. Он служил где-то в Средней Азии в пограничных войсках. Однако, довольно скоро он снова появился у нас в форме пограничника, в фуражке с голубым околышком и сказал, что, мол, заболел тяжелой формой малярии, из-за чего был возвращен в Москву.

Папа был совершенно необъяснимо, как мне тогда казалось,

привязан к этому, правда, довольно способному, но безобразно невежественному человеку.

Он добродушно посмеивался над его успехом у женщин, но именно статная фигура Миши и его кинематографически слащавая красота вызывали у папы, как я подозреваю, особую симпатию, и, возможно, тайную зависть. Всю свою молодость Михоэлсу приходилось слышать, что его внешность не соответствует профессии актера, и в Мише он увидел, возможно, воплощение своей мечты.

К собственной внешности отец относился с юмором и любил повторять, что» хотел бы заложить свое лицо в ломбард и потерять квитанцию», но в глубине души он, безусловно, страдал и от небольшого роста и от той некрасивости, которая составляла его очарование.

Не знаю, что думал по этому поводу Миша (да и зачем вообще ему думать?), но он довольно бесцеремонно пользовался папиным расположением, и, нередко загуляв с очередной белошвейкой, подолгу не давал о себе знать. А папа нервничал, и приводил самый убедительный домашний довод: «Ведь он знает, что мы его ждем! Раз он не звонит и не появляется, значит, что-нибудь случилось!»

А случиться могло все что угодно, и мы всегда были к этому готовы.

Однако, в первые же дни после папиного убийства, когда случайные знакомые становились близкими и нужными, Миша навсегда исчез из нашего дома. Поначалу мы даже не обратили на это внимания — не до этого было, а когда заметили, не сразу поняли причину. Лишь спустя несколько лет мы узнали, что демобилизованный в 1932 году из войск НКВД Миша был приставлен к отцу и на протяжении всего этого времени был осведомителем и исправно сообщал куда следует, что делается у нас в доме, и что говорит и делает Михоэлс.

Конечно, он был не единственный, но о других мы можем только догадываться.

Наборы в студию проходили ежегодно. Из каждого выпуска несколько человек принимали в наш театр, а остальных распределяли по другим еврейским театрам — в Одессу, Киев, Минск и т.д. Биробиджанский еврейский театр был создан на основе второго выпуска еврейской театральной студии.

От поступающих требовалось, в первую очередь, умение двигаться, чувство ритма и богатое воображение.

—Вот ты сейчас услышишь музыку, — не унимался Михозлс, отсидев уже восемь часов подряд на приемных экзаменах,— постарайся пластически передать ассоциации, которые она у тебя

вызывает.

Под звуки медленной плавной музыки студенты собирали цветы, безутешно рыдали, задумчиво смотрели в окно, или просто танцевали. Внезапно музыка меняла ритм, переходя в бравурный марш — требовалось тут же перестроиться: рыдающие принимались бурно веселиться, собирающие цветы отправлялись в бой, каждый старался как мог.

В студии, как и в театре, царила теплая домашняя атмосфера. В кабинете бессменного секретаря Фани Ефимовны постоянно толпился народ. На стене напротив стола висело огромное зеркало и Фифиха — так мы ее звали — постоянно работала над своей внешностью, то поправляя волосы, иногда рыжие, иногда черные, то подкрашивая глаза, то замазывая помадой и без того огромный рот, что придавало ей сходство с веселой жабой.

На рабочем столе стоял телефон и, все так же не отрываясь от зеркала, она беседовала с педагогами, составляла расписание и договаривалась со своей мамашей, чтобы та прислала ей любимые еврейские кушанья отца. По традиции, секратарша обожала патрона, изводя, заодно, и нас всех своим назойливым вниманием. Все знали о страсти Фифихи, и это, конечно, служило поводом для бесконечных шуток, а бедный папа порой оказывался в весьма щекотливых ситуациях.

Однажды папа был нездоров, и у нас собралась масса народу. Среди гостей сверкала обаянием и умом Ася Потоцкая — будущая папина жена. Вскоре появилась Фаня Ефимовна. Она не ждала приглашения и предпочитала приходить» запросто», как бы на правах» своего человека». Я носилась по квартире, накрывая на стол, таская тарелки, подавая кофе и совершенно не заметила, что Фифиха куда-то исчезла. Забежав за чем-то в тетину комнату, куда посторонним вход был воспрещен, я буквально оцепенела от изумления и неожиданности: на подоконнике распахнутого настежь окна стояла исчезнувшая Фифиха с детским воздушным шариком в руках. Стояла она так, вероятно, довольно давно, инсценируя эту водевильную попытку самоубийства, и была явно разочарована, увидев на пороге меня, а не папу. Измазав меня краской от ресниц и помадой, Фифиха с горькими рыданиями сообщила, что поскольку здесь находится Ася, то ничего другого ей не остается, как покончить с собой. Я принялась ее уговаривать отказаться от этой идеи, но она упиралась и, пообещав напоследок обязательно покончить с собой, оделась и ушла.

Должна сразу сказать, что никогда никаких надежд папа Фане Ефимовне не подавал, а пишу я о ней, как о наиболее яркой фигуре в кругу бесконечных папиных поклонниц. Как-то раз, в

дождливый осенний вечер, раздался звонок в дверь и на пороге возникла, конечно же, Фифиха, в измазанном уличной грязью пальто. Задыхаясь от рыданий, бедняжка объяснила, что она долго пролежала на рельсах, но трамвай так и не пришел, а теперь она просто не в состоянии ехать домой одна. Папа страшно растерялся, но вышел из положения, отправив ее на такси с Диамантом. Суматоха была ужасная, и заспанная Нинка, которая выползла из детской, посмотреть что происходит, сурово резюмировала: «Фифиха нарочно вымазала пальто, и ни на каких рельсах она не валялась».

Эксцентричные выходки Фани Ефимовны дорого стоили папе, он вечно чувствовал себя обязанным и виноватым за навязанные ею услуги в виде фаршированной рыбы или раздобытых по знакомству ботинок, но расхлебывать все эти истории он, естественно, предоставлял мне. Фаня Ефимовна же предпочитала, что тоже естественно, ни при каких условиях не обижаться. Она стойко» прощала» нас до конца своей жизни и умерла где-то в середине 70–х годов.

Папа принял горячее участие в судьбе ее сестры, вышедшей замуж за одного из адъютантов Тухачевского. В 1937 году он был арестован вместе с Тухачевским, и вскоре за ним последовала Мура, кокетливая пухлая блондинка, совсем не похожая на свою весьма непривлекательную сестру. Адъютант Гордон был одним из немногих, которых Берия выпустил в самом начале своей кровавой карьеры. Однако, Мура осталась сидеть. Папа объездил все доступные ему инстанции, написал пачки писем, но ответа ниоткуда не получил. Он мрачнел, свирепел, обращался вновь и вновь, но все безрезультатно. Незадолго до войны пришел, наконец, ответ, что» дело пересматривается», но война помешала» пересмотреть» его до конца. Сам же Гордон, развлекаясь в ожидании жены, погиб в автомобильной катастрофе, после сильной попойки. Мура оставалась в лагере все военные годы, а Фаня отправляла ей посылки на папины продуктовые карточки. Сразу после окончания войны, папа снова обратился с просьбой освободить несчастную женщину. Его просьба была удовлетворена, и Муре» повезло» — она вышла из лагеря в конце 1945 года.

СМЕРТЬ МАМЫ

Периоды гастролей были для меня в детстве, да и не только в детстве, самым грустным и пустым временем. Во дворе театра вырастали огромные ящики с декорациями, на которых сверкали свежие, черной краской выведенные надписи: «Путешествие Вениамина III»,«200. 000», «Колдунья» и другие.

Дома из чемоданов извлекались для проветривания летние вещи. В открытые окна врывались звуки неутомимого сопрано, с утра и до поздней ночи самоотверженно распевающего гаммы. Все эти признаки приближающегося лета наводили тоску. Когда же мы, наконец, провожали шумную, как мне казалось в детстве, веселую, а в действительности, озабоченную толпу актеров, в доме становилось уныло и пусто.

Так повторялось из года в год. Пыльная летняя Москва с длинными душными вечерами и бесконечными гаммами колоратурного сопрано из дома напротив.

У актеров не было в те годы денег отправлять свои семьи на дачи. Нечего говорить, что не было их и у папы.

Чтобы как-то развлечь нас с Ниной и подышать» свежим воздухом», мама каталась с нами на трамвае по Бульварному кольцу. Унылые дни скрашивались ожиданием и получением писем от папы. К сожалению, он имел чисто российскую привычку не датировать свои письма, но, судя по ослепительно белой бумаге, они были написаны сразу после приезда из заграницы. Нине он присылал тогда письма в картинках. Помню, как Саша Тышлер рассматривал их и приговаривал: «Миха, сколько экспрессии!»

Лето 1932 года мы, как всегда, проводили в Москве, катаясь по Бульварному и Садовому кольцу. Год был тяжелый, голодный. Денег не было, но даже если бы и были, на них все равно нечего было купить. Спасал Торгсин — мамин брат из Парижа присылал валюту.

И вот мама решила снять где-нибудь неподалеку от Москвы небольшую комнату на лето. Четвертого июля мы приехали в густой тенистый Измайловский парк и, побродив немного, зашли в один из домиков с веселой, с разноцветными стеклянными витражами, терасской. Мы с Ниной залезали на стулья, разглядывая через цветные стекла волшебный лес, то огненно — красный, то фиолетовый и все дружно решили, что лучшего места нам не найти. Мама договорилась с хозяйкой о переезде, и мы отправились в обратный путь. Впервые вырвавшись на свободу, после тягостных поездок по Бульварному кольцу, мы с Ниной

совершенно потеряли голову и носились по парку, а мама ждала нас, сидя на пеньке. Такой она мне навсегда и запомнилась — неподвижная, печальная, в лиловом платье, на фоне густой зелени.

Вернулись домой мы радостные, взбудораженные — ведь впервые в жизни мы поедем на дачу!

В тот момент, когда мы входили в квартиру, маме стало плохо. Поднялся сильнейший жар и она слегла. Тетя в панике металась от одного профессора к другому. Созывались консилиумы. Общее мнение сводилось к необходимости перевезти ее в больницу. Но без папы никто не решался принять решение.

Судя по телеграммам, которые папа ежедневно присылал, Эля сообщала ему что-то невразумительное. 31 июля рано утром он прервал гастроли и приехал в Москву. Меня поразил тогда контраст между его здоровым загорелым лицом и теми бледными тенями, которые бродили вокруг. Я помню, что все три недели, вплоть до папиного приезда, я торчала в маминой комнате. Меня гнали, но я упиралась, сидя почему-то на подоконнике и прислушиваясь к маминым стонам.

Едва поцеловав нас, папа поспешил в мамину комнату. Не знаю, сколько он там пробыл. Наверно недолго. Мы молча столпились в коридоре. Когда отец вышел, его нельзя было узнать. За несколько минут он буквально почернел, скулы были сжаты, лицо выражало отчаяние. Не глядя на нас, он подошел к телефону, вызвал Вовси и попросил срочно прислать за мамой машину. Через час маму увезли в больницу. Папа оставался с ней до последней минуты.

Нас в больницу не пускали. Из Элиной комнаты разносился запах валерианки. По квартире сновали какие-то незнакомые лица. Я со страхом и надеждой ждала папу. Вот он придет и скажет, что уже все в порядке, и мама скоро будет с нами. Но папа не приходил и не звонил. А через пять дней, четвертого августа, в сумерки, он как-то неожиданно появился в дверях, молча усадил нас с Ниной к себе на колени и, после длинной паузы, тихо произнес: «Вот и нет нашей мамочки…»

Мама проболела ровно месяц и 4 августа 1932 года умерла от тяжелого заболевания почек. Ей было тридцать два года.

Папа оставался с нами неделю. Он не выходил из комнаты, не брился, но даже в его подавленности, в обращении с нами, с Элей, мне чудилась какая-то неловкость, непонятное мне чувство вины.

Ежедневно звонили из Одессы, где в это время находился театр, папа отдавал какие-то распоряжения и через неделю

вынужден был вернуться на гастроли. Его встречал весь коллектив театра, и много позже мне рассказывали актеры, что состояние у него было чрезвычайно тяжелое. Однако, были к этому и особые причины.

Обстоятельства нашей жизни сложились так, что мне не у кого было спросить о маминой молодости. Лишь много лет спустя, зимой 1948 года, в первые дни после папиной гибели, мне стали известны некоторые подробности ее жизни.

Рассказала мне об этом мамина подруга Етхен Гольдштейн, жена большого друга отца Юлиуса Гольдштейна. Самого Юлиуса, крупного работника Торгпредства, забрали в тридцать пятом году. Етхен же скиталась по лагерям и пересылкам. В сорок восьмом году она находилась на поселении в ста километрах от Москвы. После известия о папиной гибели она, разбитая, нищая и больная, приехала в Москву. Два дня, которые Етхен провела у нас, она много рассказывала о маминой молодости. Но в те дни мы мало что способны были воспринимать и мне запомнился лишь один эпизод.

«Она пользовалась большим успехом,— рассказывала Етхен, — ее наперебой приглашали на танцы, пикники, литературные вечера и концерты.

Однажды, после какого-то концерта, мы все вместе вышли на улицу. Стояла ранняя весна, к ночи подморозило и было страшно скользко. Кто-то предложил твоей маме прокатиться по льду. Докатившись до середины, она вдруг поскользнулась и со всего размаху упала на спину. Испуг был ужасный. Больше всех паниковала, как всегда, Эльза. Сара же, от неловкости, что она испортила друзьям настроение, мужественно поднялась и заявила, что ей ничуть не больно.

Вскоре у нее обнаружили тяжелое почечное заболевание, то ли при падении она отбила себе почку, то ли падение спровоцировало болезнь, которая до этого где-то дремала, так или иначе мама заболела и болезнь оказалась неизлечимой».

Это все, что мне запомнилось из рассказов Етхен в те страшные дни. Конечно, были среди ее многочисленных рассказов и веселые, и смешные, и забавные. Но наша память — странный фильтр. Она отбирает лишь то, что соответствует нашему состоянию в данный момент.

Мама мне запомнилась тихой, доброй и очень грустной. Наверное потому, что тот период, который способна охватить моя память, был самым тяжелым в ее недолгой жизни.

Я так и не знаю точно, в каком году поженились мои родители, но знаю, до чего они были духовно близки друг другу. Мама принимала участие во всех начинаниях отца, поддерживала

его, когда он, еще неуверенный **в** себе и своих способностях, решил связать себя с театром.

Не знаю, как складывались их отношения, но по собственному опыту знаю, что жизнь с таким человеком, как мой отец, не могла быть легкой. Он не выносил и намека на размеренность и порядок, которые, как правило, составляют основу домашнего быта. Как говорила Эля: «Соломон Михайлович — самый неподходящий для семьи человек». Понятие» семьи» для отца было связано, в первую очередь, не с очагом, а с традицией.

Вопреки» зову времени» — уничтожать и разрушать все созданные веками понятия и обычаи, отец, воспитанный в среде, где традиция чтилась и оберегалась, испытывал потребность поддерживать ее в собственном доме. Так, при уже назревающем разладе в семье, он неизменно приходил домой обедать, после чего ложился» соснуть на часок». Мы с Ниной нетерпеливо ждали его пробуждения, ибо за ним следовала увлекательнейшая, обязательная игра в прятки. Никакие уговоры мамы и Эли не могли заставить нас идти спать, хотя, другой раз, традиционный» семейный обед» мог быть и в семь, и в восемь вечера. Но хотя детям и вредно» возбуждаться перед сном», игра в прятки, как и обед, как и послеобеденный сон, была традицией, которую нельзя нарушать.

Я не исключаю, что соблюдение этого почти что религиозного обряда» обед — сон — игра», при той сложной ситуации, которая сложилась в ту пору в нашей семье, было продиктовано пусть неосознанным, суеверным чувством, что» традиция охраняет».

Для нас же с Ниной, в той сумрачной неуютной обстановке, в которой протекало наше детство, эти вечерние праздничные минуты, сохранились в памяти, как нечто незыблемое, прочное и светлое. Остальное время в доме царила напряженная, тяжелая атмосфера. Все реже заливалась своим заразительным смехом мама, участились истерические припадки у Эли. В их разговорах появилось новое, незнакомое мне до сих пор имя — Чечик. Произносилось оно шепотом, что настораживало и пугало.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

В 1924 году была ликвидирована еврейская театральная студия в Киеве — Культурлига. Небольшая группа актеров перебралась из Киева в Москву и была принята в наш театр. Среди них была пара людей, муж и жена, он — Давид Чечик, она — Женя Левитас, которым суждено было сыграть роковую роль в жизни нашей семьи. Оказавшись рядом с Михоэлсом в одной из гастрольных поездок, Чечик начал с того, что взял на себя мелкие бытовые заботы, в которых отец никогда ничего не смыслил, развлекал его занятными историями, потешался над самим собой, словом, исполнял обязанности шута при короле, а кончил тем, что… уступил ему свою жену Женю.

Блестящая личность, обаяние и талант молодого актера привлекали к Михоэлсу внимание не только крупнейших деятелей искусства того времени, но и многих женщин, жаждавших купаться в лучах его славы. Однако лишь одна из них смела посягнуть на святость семьи. Это была бывшая актриса Культурлиги, происходившая из провинциальной мещанской семьи киевских торговцев, Евгения Максимовна Левитас.

Мама же, мягкая и скромная до робости, не принадлежала к тому сорту женщин, которые будут бороться до последнего, чтобы в критической ситуации удержать собственного мужа.

Случилось так, что в 1969 году ко мне попал маленький сборник стихов старшего маминого брата, Михаила Львовича Кантора, вышедший в Париже на русском языке. Дядя Миша имел юридическое образование, но призванием его была поэзия и философия. В 1921 году он покинул Россию, проделав весь путь русского эмигранта — сначала Берлин, затем Париж. Много лет он сотрудничал в литературных журналах с Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Адамовичем и другими. Одно из стихотворений в сборничке, который по его просьбе передали мне, я хочу привести здесь для характеристики моей мамы, да и не только мамы, а всего клана Канторов.

«О себе не говори, лучше о себе не помни, ты на свете избери уголок, да поукромней. Все, что знаешь — знай, но прячь. Никуда спешить не надо. Пусть несется мимо вскачь обезумевшее стадо лицемеров и рвачей за фортуною в погоне. Ты не с ними. Ты — ничей, тихий зритель на балконе».

Вот эти слова надо было бы золотыми буквами выбить у входа в семейный склеп Канторов, если бы таковой имелся.

Мама и была» тихим зрителем», которому оказалась не под силу вся эта жизнь с кулачными боями, сплетнями, выяснениями

и объяснениями. Ее физическое состояние ухудшалось, сердце сдавало и она боялась операции, на которой настаивали врачи.

Папа же, насколько я понимаю, мучался от двойственности положения, испытывал непреходящее чувство вины, но окончательного решения не принимал. Мама умерла, оставаясь его официальной женой, с которой он, согласно еврейскому обряду, венчался у раввина.

* * *

В сложной ситуации нашей семьи театр, как это всегда бывает, разделился на два лагеря. С теми, кто был не на стороне мамы, я, разумеется, в детстве не встречалась, и никогда не видела Чечика, который появился у нас лишь после многих трагических событий и на многие годы оставался у нас в доме.

В нем уживалась лакейская услужливость и гусарская удаль. В театре его считали наушником, подозревали, что папа прислушивается к его мнению. Между тем, насколько я помню, папа никогда не следовал его, Чечикиным, советам.

Еще и сейчас мне приходится читать, что Чечик не только влиял на отца, но и был, якобы, причастен к» органам».

Чечик был трус, подхалим, картежник и порою пьяница, но никогда не принадлежал к агентам КГБ — это я знаю со всей достоверностью.

Иногда он бывал довольно остроумен. Как-то после большого приема на Станкевича, по поводу которого дверь из кухни была наглухо закрыта, а по коридору, во всю длину, протянута ковровая дорожка, принесенная из театра, мы с папой и Чечиком куда-то уходили. На лестнице Чечик лихо скинул одну галошу и глубокомысленно изрек: «Одна галоша — символ, а две — удобство…»

«Чечик хорош только своими пороками»,— говорил о нем отец.

Я заметила, что с некоторых пор недоверчивость и подозрительность стали считаться признаками ума. Возможно это дань эпохе. Во всяком случае, в России. Доверчивый человек вызывает снисходительную ухмылку современных Передоновых[2].

Назвать отца доверчивым было бы слишком однозначно. Он не доверял, а верил в людей, исходя из предпосылки, что» в каждом из нас заложено и плохое и хорошее. Весь вопрос в том, какую из этих сторон вызвать к жизни».

И люди оборачивались к нему своей» лучшей стороной»,

вводя отца в заблуждение относительно своих истинных качеств.

Так было и с Чечиком, и со многими другими, которые пользовались этим уникальным качеством отца — доброжелательностью.

Разумеется, все сказанное не касается Жени Левитас — истории такого рода подлежат иной классификации.

12 марта 1932 года состоялась премьера первой самостоятельной постановки Михоэлса» Спец».

Это было время, когда истерзанная ленинскими экспериментами страна корчилась в голодных судорогах, когда лютый голод скрутил уже и плодородную Украину. Чтобы как-то поправить дела, государственные умы решили прибегнуть к помощи так называемых» специалистов», то есть технической интеллигенции, знания которой можно было использовать для восстановления разрушенного народного хозяйства. Специалистов этих почти не осталось — часть их успела бежать, часть была уничтожена или ждала уничтожения.

Помню слова» Соловки» и»облава»(ныне — «обыск»), Красный Крест, постоянно произносимые шепотом у нас дома. Мама проводила целые дни в приемной Винавера{3}, хлопоча за друзей, находившихся в тюрьмах и ссылках.

Но тех, кто еще был на свободе, молодых способных выпускников институтов, стали пачками посылать за границу на повышение квалификации. Само собой разумеется, что использовав по возвращении из заграницы, их потихонечку уничтожали как» шпионов» или» врагов народа». Кампания против них уже началась и, как всякая кампания в СССР, немедленно нашла свое отражение в литературе, кино и театре.

Два еврейских писателя, Добрушин и Нусинов, написали пьесу» Спец» об инженере Берге и его неудачливой судьбе. Пьеса была слабая. Спектакль получился неудачный. Мне из всего спектакля запомнилась лишь одна деталь: белолицая как Пьеро женщина с огненно — рыжими волосами в обтягивающем черном шитье до полу сидит на диване, а рядом валяется точно такая же кукла.

Я была тогда очень мама и запомнилась мне главным образом эта кукла. Однако, отчетливо помню недовольство отца и мое смутное тревожное детские ощущение, что это недовольство связано не только с его собственной работой — роль жены Берга исполняла Женя Левитас. Берга играл отец.

В начале октября папа вернулся из гастрольной поездки. Он был растерян, подавлен, раздражен. Надо было по — новому решать жизнь. Но как? Решать каждодневные житейские проблемы он не умел, наоборот, умудрялся запутать и осложнить

любую самую простую ситуацию.

После смерти мамы мы остались на попечении Эли — беспомощного, преданного и невыносимого существа. Ее патологическую мнительность и обидчивость мы приписывали тяжелому характеру, но как мы впоследствии поняли, она страдала тяжелой ипохондрией, в клиническом смысле этого слова.

Всякое соприкосновение с реальностью коробило и ранило ее, и она уходила от этой реальности в свой собственный мир, который замкнулся, наконец, стенами одной комнаты. Жизнь, бурлившая вокруг, казалась ей вульгарной и грубой, и она одинаково страдала как от прихода гостей, так и от посещения водопроводчика. Представления о нравственности укладывались у нее в схему лучших морализаторских трудов немецких романтиков, и нам, детям, она прививала старомодные смешные манеры и полную неприспособленность к жизни.

С тех пор, как не стало мамы, она требовала от меня, десятилетнего ребенка, «принципиального отношения» к папе и его посещениям. Она настаивала на том, чтобы я объяснила ему» его права и обязанности»: он обязан заниматься только нами, он не смеет требовать, чтобы мы ходили вниз, то есть туда, где жил он с Женей, и так далее. Лишь много лет спустя я поняла, насколько тяжело приходилось отцу в эти месяцы. Видимо Жене надоела та раздвоенность, в которой он жил, разрываясь между нами и ею, и она принялась ставить ультиматумы и настаивать на более решительных действиях с его стороны, к которым он не был готов.

Но тогда, осенью тридцать второго года, сразу после смерти мамы, я ничего этого не понимала. Я знала, что папа требует, чтобы я приходила вниз и делала уроки под его наблюдением. Видимо, как всякому мужчине в подобной ситуации, ему хотелось примирить непримиримое и создать для себя хотя бы видимость нормальной семьи.

А жизнь его вечно складывалась так, что он вынужден был раздваиваться между любовью к нам, его дочерям, и бесконечными обязательствами и обязанностями, которые наваливались на него со всех сторон и которые он нес один, без чьей-либо поддержки и помощи.

В те мрачные месяцы, в дождливые осенние дни, папа продолжал, по семейной традиции обедать у нас и, потерянный и несчастный, уговаривал меня приходить к нему после школы делать уроки. У меня разрывалось сердце от жалости к папе и от страха» изменить памяти мамы», как объясняла мне тетя. Папа раскачивался в кресле, как старый еврей на молитве, и

беспомощно объяснялся с тетей, сидевшей напротив, с лицом скорбным и неприступным.

Это тягостное и неопределенное положение длилось больше месяца, пока, наконец, не разразился скандал, после которого папа надолго покинул нашу квартиру — Эля вынудила меня, десятилетнюю, написать письмо, что я» отказываюсь предавать мамину память» и поэтому приходить к нему не буду. Писала я это под гневную Элину диктовку.

Прочтя это послание, составленное в непозволительно резких тонах, отец решил немедленно забрать к себе Нину, а я пусть остаюсь с тетей. Эля в истерике бросилась вырывать у него пятилетнюю Нинку, папа выскочил в ярости, грохнув дверью. Во время этой безобразной сцены я металась между взрослыми, разрываясь от страха потерять такого любимого папу и сдерживаемая жесткими незыблемыми понятиями о долге и измене, внушенными мне Элей.

В результате, после долгих колебаний, как мне потом рассказывала близкая мамина подруга, совершенно измученный отец — он жаловался на бессонницу, одиночество, плохое самочувствие — принял решение не приходить к нам некоторое время, рассчитывая, видимо, на то, что Эля, увидев мою тоску по отцу, смягчит свои позиции, и постепенно все само собой уладится. Но как всегда в папиной жизни, и этому плану не суждено было осуществиться.

В ночь с 29 на 30 декабря скоропостижно умерла от инсульта Женя Левитас.

Нас разбудил телефонный звонок. Взяв трубку. Эля пронзительно закричала и принялась с причитаниями кататься по постели. Сначала я бросилась к ней, трясла ее, пыталась узнать, что произошло, но Элино отчаяние было так велико, что я вдруг поняла — что-то непоправимое стряслось с моим папой…

Все это длилось несколько мгновений и, по — моему, в полной темноте. Эля даже не успела зажечь свет. В этой темноте, оглушенная ужасом, воплями Эли, плачем проснувшейся Нины, я и не заметила, как квартира наполнилась людьми.

Чем тише они перешептывались, чем горячее успокаивали Элю, тем страшнее мне становилось. Актеры и актрисы, хлопотавшие вокруг тети, избегали, как мне казалось, со мной разговаривать. Наконец мамина подруга Олюшка, та самая, которая возилась со мной во время скарлатины, а последнее время стала папиной конфиденткой и пыталась помирить его с Элей, Олюшка подошла ко мне, усадила рядом с собой и рассказала о случившемся.

Эля пребывала в состоянии растерянности и отчаяния,

состоянии, естественном при ипохондрическом складе ее характера, но обострившемся вследствие навалившихся на нее проблем.

Прошло около двух месяцев, как папа перестал бывать у нас. Теперь, когда он остался один, и кроме нас никого у него нет — как сложатся наши отношения? Как уговорить его снова приходить к нам? Кому поручить переговоры, чтобы не оскорбив память покойной мамы и второй папиной жены, предложить ему перебраться к нам жить?

Жребий снова пал на меня. В ходе длительных и путаннейших совещаний с друзьями, Эля вынесла решение, что поговорить с папой должна я. Мне был предложен уже готовый текст, который надлежало выучить наизусть.

Эля и не догадывалась, что уже давно, сразу после похорон Жени, я тайком приходила к отцу и часами просиживала возле него. Я ни у кого не спрашивала, ни с кем не советовалась, уже зная по опыту, что у взрослых слишком много соображений и запретов. Просто однажды по дороге в школу я спустилась на первый этаж и с чувством, что совершаю святотатство по отношению к памяти мамы и с бесконечной жалостью к папе, постучала в высоченную парадную дверь. Открыла мне жена Зускина Эда, молча взяла за руку и повела в глубь коридора. Длинный, темный с закопченными стенами коридор показался мне еще более мрачным, чем наш, на третьем этаже. Эда остановилась, тихонечко постучала в одну из дверей и впустила меня.

В крохотной комнате на диване лежал папа, а перед ним на табуретке сидела стриженая седая женщина. Угадав в ней мать Левитас, я решила выйти, но папа повернулся, увидел меня и подозвал к себе.

С этого дня я старалась побыстрее справиться с домашними делами и уроками, чтобы украдкой сбегать к нему. Всех, кто меня там видел, я просила не рассказывать Эле. Помню, что даже тогда, маленькой девочкой, я удивлялась, что никто из взрослых не выдал меня.

Неудивительно, что меня начали посещать ночные кошмары. Однажды, засыпая, я совершенно отчетливо увидела, как папа кухонным ножом перерезает себе вены. Дома все спали. Стуча зубами от страха, я тихонечко оделась и спустилась вниз. Видимо, было еще довольно рано, так как за входной дверью слышались громкие голоса, что меня, и без того перепуганную, напугало еще больше. Не знаю, сколько времени простояла я под дверью, боясь войти, но в какой-то момент с улицы вошел Зускин, который, естественно, изумился, увидев меня одну ночью на

лестнице. «Что ты тут делаешь?«Я принялась сбивчиво и путанно умолять его не оставлять папу одного, объяснила про кухонный нож, просила следить за папой, пока, наконец, Зуса не остановил меня, пообещав, что все будет в порядке и не отправил спать.

Видимо Зускин рассказал папе об этой встрече, так как назавтра, когда я очередной раз забежала к нему, папа сказал, что должен поговорить со мной.

— Люди рождаются старшими и младшими, — начал он. — Вот у меня есть братья, у нас с тобой есть Нинка и Эля. Все они беспомощные и слабые, и только мы с тобой сильные и должны их охранять. Хоть ты и маленькая, но ты моя единственная опора в доме.

Он замолк, продолжая держать меня за руку. Было ли это ответом на мои ночные страхи? Возможно. Возможно также, что он искал оправдания побеждающему в нем жизнелюбию. А я сидела бесконечно гордая его доверием, еще не понимая, до чего же скучно и тяжело оставаться на всю жизнь старшей.

Но эта духовная близость, этот контакт, возникший и окрепший после всех потрясений, сохранился у нас до конца его дней. Поэтому мне совсем не показалось сложным поручение, возложенное на меня Элей — переговорить с папой и предложить ему перебраться к нам.

Однако, выслушав молча мой лепет о том, как трудно жить на два дома, что я хочу сама за ним ухаживать, что вместе нам всем сразу станет легче, он ответил, после паузы, что не сможет переехать, так как ему трудно менять место. Для меня это было совершенной неожиданностью, так как в успехе своей миссии я была уверена заранее. Много лет спустя, в январе 1948 года, я вспомнила и вдруг поняла это его чувство, которое бывает как при сильной боли, когда кое-как пристроишься в одном положении и боишься пошевелиться, чтобы с переменой положения боль не усилилась.

Примерно в середине марта папа наконец решил выйти из своего заточения, в котором он провел около трех месяцев, и подняться к нам.

Господи, какие поднялись но этому поводу волнения, какая суета и неразбериха, как торжественно готовилась к его приходу моя несчастная тетя!

Сгорбившись, с отсутствующим взглядом, состарившийся до неузнаваемости, опираясь на Чечика и меня, преодолевал папа расстояние в три этажа после двух месяцев оцепенения и неподвижности.

Этот взгляд и эту поступь я узнала года через два в сцене выхода короля Лира. Не помню, у кого я наткнулась на

воспоминания о Тальма — великом актере Франции — и мне запомнился такой эпизод: на похоронах собственного сына, великий Тальма, сотрясаясь от рыданий, потребовал зеркало. Когда кто-то осмелился спросить, зачем ему зеркало, Тальма ответил, что должен знать, как выглядит человек в глубоком горе. Видимо, большим актерам свойственно подобное раздвоение и они сознательно (как в случае с Тальма) или подсознательно фиксируют свое поведение в тяжелые минуты жизни, с безжалостностью хирурга препарируют они свои переживания, чтобы потом, в готовом виде, преподнести со сцены переработанный опыт страданий.

Эля с плачем бросилась к отцу, а он, грузно опустившись на бывший мамин диван, растерянно мигал покрасневшими веками. Узнав, что отец вышел из своего заточения, народ повалил было валом к нам, но папа никого не хотел видеть.

Сезон 1932–1933 года был отменен. В театре шел ремонт. Режиссеры, писатели, драматурги, художники наперебой предлагали Михоэлсу свои замыслы и идеи. Однако, тот внутренний перелом, который несомненно переживал в этот период отец, мешал ему принять эти предложения.

Это был самый тихий и безлюдный период в его жизни.

Он мало говорил, большую часть времени проводил в неподвижной задумчивости, даже что-то записывал, что, как я уже неоднократно говорила, было несвойственно ему в обычное время. Помню, как-то крутя в руках мамину пудреницу, он говорил мне, что для него, который не любит вещей и которого, в свою очередь, не любят вещи, отдельные предметы, связанные с определенным человеком, теряют свой первоначальный смысл и становятся символическим продолжением этого человека… Он часто говорил со мной о маме и мне думается, что эти две смерти, последовавшие одна за другой, породили в отце суеверный страх — не является ли смерть Жени, по всем законам античной трагедии, местью за маму?

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Я так избаловалась постоянным присутствием папы дома, что когда он начал выходить, страшно затосковала. В один из таких вечеров, предчувствуя папин уход, я принялась ныть и жаловаться на скуку. Тем временем домработница Нюра подавала обед.

— Ну как тебе может быть скучно? — недоумевал отец. — Ты посмотри хоть на Нюру. Это ж одно удовольствие — кофта зеленая, юбка синяя, чулки коричневые, туфли красные. Брови насурьмлены, щеки нарумянены. Судя по всему, она собралась в гости. Вот и вообрази себе, кто ее друзья, как они выглядят, о чем беседуют, как проводят время? Это ж такое развлечение! Разве вообще может быть скучно?

И он тут же, презабвеннейшим образом изобразил как Нюра пьет чай вприкуску и оттопырив мизинец у своей приятельницы Клавы, и жалуется ей на мой нудный нрав.

Так он нас воспитывал. Незначительный пустяк становился поводом к забавным играм, неожиданным обобщениям и выводам. Все было так увлекательно, весело и интересно, что волей — неволей мы начинали по — новому видеть и понимать самые обыкновенные вещи. Была, например, географическая игра. Пана объявлял свою голову глобусом. Макушка — Северный полюс. Лысина — Тихий океан. Надо было совершить путешествие от океана до Альп, которые по условиям игры располагались в районе носа и обратно, через Женевское озеро — правый глаз.

Полагаю, что игра эта была придумана специально для меня, так как я сильно отставала по географии, но отказать себе в удовольствии поиграть в голову — глобус, конечно, не могла.

Между тем, затишье, вызванное трагическими событиями, подходило к концу. В ноябре 1933 года состоялась премьера пьесы Бергельсона» Мера строгости». Эта режиссерская работа Михоэлса оказалась значительно удачней предыдущей. Она отличалась неожиданными смелыми мизансценами, изобретальностью, яркостью и своеобразием приемов. Само собой разумеется, что в результате Михоэлс был подвергнут в прессе резкой критике за формалистическое решение спектакля.

Много дней и бессонных ночей провели отец с Бергельсоном, прежде чем спектакль увидел свет. Они курили, пререкались и пили кофе. Кофе, кофе без конца. Саша Тышлер пишет в своих воспоминаниях: «Михоэлс очень любил свое искусство, театр, свой народ, культуру других народов и многое другое, что должен и может любить такой человек. Перечислить все трудно и

не нужно. Но если бы у меня спросили, что же он больше всего любил, я бы ответил: черный кофе!»

И действительно, сколько кофе он поглощал! В конце 1936 года папа заболел и целых две недели просидел безвыходно дома. С утра и до поздней ночи, а то и до рассвета не закрывались двери нашей квартиры. Однажды, мне пришло в голову подсчитать, сколько же чашек кофе я подала за день. Цифра оказалась довольно внушительной, во всяком случае, для частного дома -86 чашек!

Безусловно, наш дом отличался от всех других, которые я знаю. Устойчивость и прочность быта просто претили отцу, и поэтому наш безалаберный бестолковый дом хронически пребывал в состоянии временного устройства, что совершенно не мешало самым разнообразным и интереснейшим людям толкаться у нас с утра до вечера.

Денег никогда не было. Одеты мы все были из рук вон плохо, но ничуть этим не тяготились. В одном из писем папа мне писал:«… если бывают денежные затруднения, то только от моего характера, который не умеет рассчитывать и экономить, как это делают другие люди».

Наверно поэтому весь наш быт строился на слове» пока». Вместо кровати» пока» покупался матрас, затем какой-нибудь подвыпивший умелец доделывал к нему козлы. Старый Элин сундук заменял собой шкаф, и в него» пока» складывались самые неожиданные и невероятные вещи: старинная бабушкина кружевная накидка и папины стенограммы, разрезной нож из слоновой кости и флакон от маминых духов, рецензии на спектакли и занафталиненные зимние пальто.

Перспектива основательной» генеральной» уборки вызывала неизменный протест, и если за этажерку, служившую» пока» вешалкой, заваливалась вдруг любимая, потертая кепка, папа решительно заявлял: «Нечего лезть, поднимем, когда надо будет!»

Вот это» поднимем, когда надо будет!«было основой основ нашей домашней жизни.

Работа с Бергельсоном заставила отца превозмочь себя, но это стоило ему огромных усилий. Возвращаясь с репетиции, он ложился на мамин диван все с тем же отсутствующим отрешенным выражением лица, которое я наблюдала у него все эти месяцы. Рядовая постановка, какой была» Мера строгости», не могла вывести отца из состояния затянувшейся депрессии.

Не помню, как и когда впервые заговорили дома о» Короле Лире». Вообще, сыграть роль Лира отец мечтал чуть ли не с детства. Его соученики по рижскому реальному училищу рассказывали, как он чуть ли не до слез потряс старого учителя

литературы, прочитав на уроке сцену проклятия Гонерильи. Присутствовали они и при том, как учитель предсказал своему ученику будущее великого актера. Так что о роли Лира отец мечтал давно. Вот что он сам рассказывает об этом в своей статье» Моя работа над» Королем Лиром»:

«В тридцать втором году в моей жизни было много горя. Я потерял за очень короткий срок несколько близких мне людей. Эти утраты настолько выбили меня из колеи, что я стал подумывать вообще бросить сцену.

Выходить на сцену и играть свои старые роли стало для меня невыносимым. В этих ролях были комедийные эпизоды, смешившие весь зрительный зал. Мне же этот смех казался чужим. Мне было завидно, что люди могут смеяться. Я сам был тогда внутренне лишен этой возможности. Я твердо решил уйти из театра.

Но мои товарищи по театру, желая вернуть мне интерес к жизни и к работе все чаще и чаще говорили: «Вот вы сыграете Лира…»

Во мне жило первое школьное впечатление о трагедии, я помнил, как плакал мой учитель, когда я читал последний акт. С тех пор я к трагедии больше не возвращался. Детские воспоминания сохранили мне только пессимистическую сторону трагедии. Я помнил, что там происходит катастрофа, гибель. Это как нельзя соответствовало моему настроению. Внутренне я очевидно понимал, что освободиться от тяжести давившего на меня горя можно только с головой окунувшись в работу. И я начал серьезно подумывать о том, чтобы поставить» Короля Лира» у нас в театре.

… Помимо юношеского увлечения за Лира говорило еще следующее: Госет — театр еврейский. Актерам этого театра легче играть в пьесах, которые имеют определенный национальный колорит. В» Короле Лире» такой колорит можно было угадать и обнаружить, ибо, на мой взгляд, эта трагедия Шекспира во многом сродни библейским легендам. Я бы сказал даже, что это притча о разделе государства в вопросах и ответах.

В первые годы моей жизни я учился в еврейской школе, там мне приходилось изучать всякие теологические науки (Библию, Талмуд, комментарии к Талмуду). Кроме того, и быт в доме моих родителей был очень патриархален; он был весь пронизан религиозными представлениями, которыми жил отец. Но повлиять это на меня не могло. Своеобразная поэзия этих книг вошла в мое сознание. Трагедия о Короле Лире была по самому образному строю своему близка этой древней поэзии. И я наконец решился».

Михозлс, действительно, с головой окунулся в работу. Наши крохотные комнаты постепенно разбухали от бесчисленных русских и немецких переводов Шекспира, которые приносили папе старички — букинисты.

Когда бы я ни проснулась, сквозь приоткрытую дверь я видела его расхаживающим по узкому коридору с книгой в руках. Только глубокой ночью он имел возможность сосредоточиться на своей работе, ибо остальное время суток его буквально рвали на части. Дома, на приемах, в театре, на художественных советах, в гостях — всюду люди. Только ночью он оставался наедине с самим собой.

Впрочем, и ночью случались неожиданности.

Однажды, темным зимним утром я проснулась и обнаружила, что папа не вернулся домой. Я бросилась звонить» вниз». К телефону подошел Чечик и попросил меня от папиного имени немедленно спуститься. Он сидел, обложенный подушками на диване у Зускиных и слушал радио.

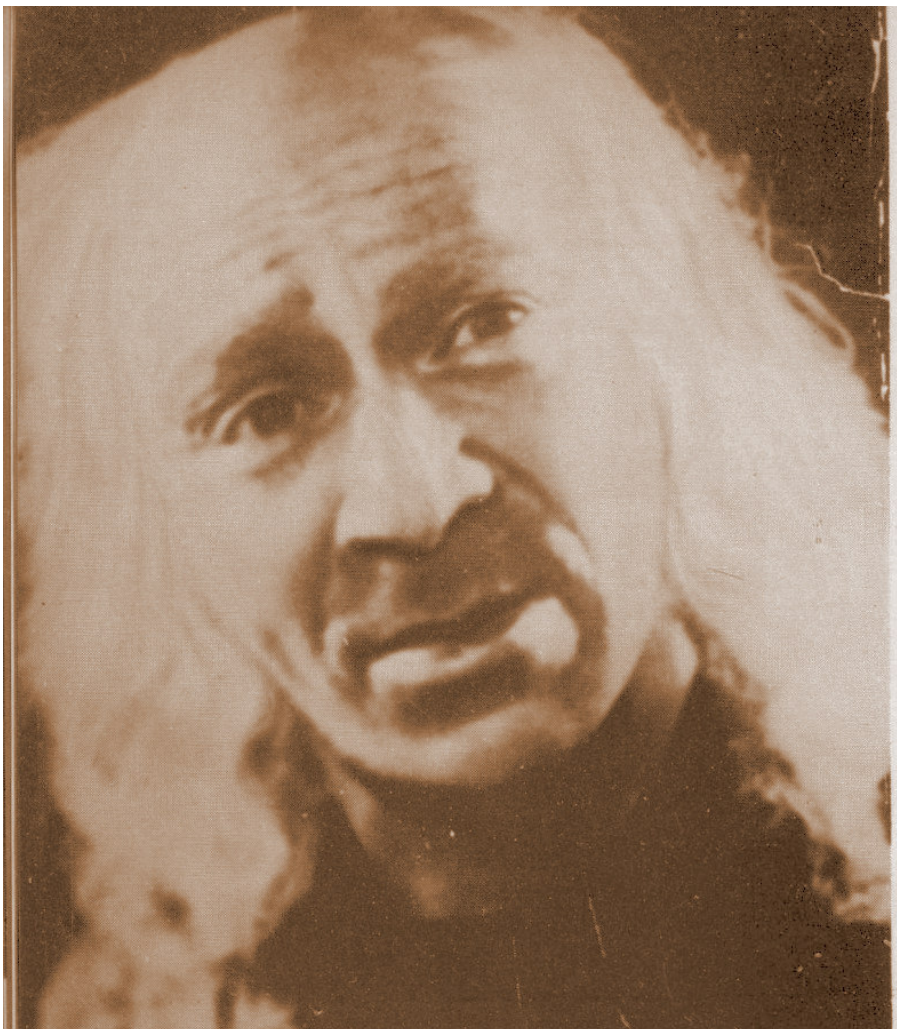
Передавали сообщение об убийстве Кирова.

Я стояла в полной растерянности: папа сильно кашлял и тяжело дышал. Не рискуя прервать профессионально — траурный голос диктора, я мучительно соображала, что же могло стрястись. Уходил он из дому совершенно здоровый, вернулся больной, когда он успел простудиться и если заболел, то почему не вернулся домой, а находится здесь, внизу, где ему вообще так тяжело бывать?

Выяснилось вот что: возвращаясь в эту снежную ночь домой по морозным пустынным улицам Москвы, он поймал себя на том, что громко читал монолог Лира (на идише), чем, по — видимому, оскорбил слух трех молодчиков, сильно навеселе, которые с традиционным» Бей жидов! Спасай Россию» бросились его избивать. Никогда мы не пытались выяснить случайно или не случайно встретилась ему эта пьяная компания в столь поздний час. Однако, поскольку пьянство — явление нормальное и более чем распространенное на ночных улицах, то ничего подозрительного (во всяком случае тогда) я в этой встрече не усмотрела. В своем рассказе папа скромно умолчал о том, что если бы не его богатырская сила, ему бы не уйти живым.

Ночные побои кончились затяжным плевритом — отцу отбили легкие. Произошло это в роковую ночь на первое декабря тридцать четвертого года — ночь убийства Кирова. Думаю, что и отец отнесся к этому» происшествию» как к случайности, домой же он не поднялся, чтобы не напугать меня своим кашлем и синяками.

«ЛИР»



В. Шекспир "Король Лир"

Тридцать четвертый год проходил под знаком подготовки к»

Лиру».

Как художественный руководитель театра Михоэлс не имел времени посвятить себя работе над одним только спектаклем. «Лир» требовал огромной подготовительной работы, «строительных лесов», по его выражению, занявшей в общей сложности больше двух лет. За это время были сделаны две постановки — «Мера строгости» Д. Бергельсона и» Миллионер, дантист и бедняк», водевиль французского драматурга Лябиша, которую ставил Леон Муссинак, режиссер из Франции.

Прочтя пьесу, отец с наслаждением, буквально купаясь в находках, проиграл нам дома всю роль Бедняка, но роль эта понравилась Зускину и Михоэлс, как старший, уступил. В спектакле он играл Дантиста.

Жан — Ришар Блок, побывавший на спектакле, написал:«… Замечательный артист Михоэлс создает из Дантиста Трепана образ, не раз соприкасающийся в своей выразительности с лучшими образами Чаплина».

А мне как раз запомнился эпизод, где влюбленный Бедняк — Зускин хочет броситься в Сену от несчастной любви, и во всей грациозной нелепости его фигуры, в его пластике и обаянии было действительно что-то от Чаплина.

От того периода мне запомнились бесконечные переговоры с режиссерами, художниками, репетиции, репетиции и репетиции. Я уже писала, что до определенного времени ни у нас ни у папы жизни вне театра не было. Мы жили каждой его удачей и неудачей, каждой находкой в роли и мизансцене.

Репетиции» Лира» двигались медленно и трудно. Путь Михоэлса — человека и актера — к» Королю Лиру» Шекспира был драматичен, долог и не случаен. Он пришел к Шекспиру через трагический опыт своей собственной жизни, жизни своего народа, страны, в которой он жил, родился и работал.

Его исполнение роли короля Лира называли» мудрым». Таким оно и было.

«Мне казалось, что путь Лира в трагедии идет не от старости к смерти, а от старой изношенной статичной идеологии к обновленной, бурной и гораздо более молодой», — писал отец в своей большой статье» Моя работа над» Королем Лиром». Статья эта дает некоторое представление о том гигантском труде, который проделал Михоэлс в этой постановке. Я считаю необходимым привести несколько отрывков из этой статьи.

«… Исходная точка моей концепции трагедии заключалась в том, что король созвал дочерей, явился к ним с уже заранее обдуманным намерением. Легкость, с которой он отказывается от своей великой власти привела меня к выводу, что для Лира

многие общепринятые ценности обесценились, что он обрел какое-то новое философское понимание жизни (…) Уже самый факт, что он решил платить за лесть, доказывает, что слова любви он ни во что не ставит.

Трагедия для меня начинается не там, где Лира выгоняет Гонерилья. Трагедия начинается там, где Лир выгоняет Корделию, то есть в первом акте…»

Я смотрела спектакль больше ста раз. Знала его наизусть. Но самое первое впечатление от выхода короля осталось на всю жизнь как одно из сильнейших потрясений.

Под звуки церемониального марша торжественно шествуют придворные. Внезапно музыка обрывается. В полной тишине, откуда-то сбоку незаметно появляется старый король. Сгорбившись, запахнувшись по — домашнему в мантию, как в простой плащ, Лир направляется к трону с опущенной головой, ни на кого не глядя.

На троне уже восседает Шут. Лир ласково — небрежно стаскивает его за ухо, поднимает, наконец, глаза, и обводит взглядом склоненные головы придворных. Впервые можно увидеть его лицо. Без грима. Без традиционной бороды. Лицо владыки и скептика.

Легким движением пальцев пересчитывает король собравшихся. Он не видит Корделии, которая спряталась за спинкой трона, но вот она появляется и раздается его дробный старческий смешок. Этот смешок был одним из лейтмотивов Лира. Он повторяется неоднократно на протяжении спектакля…

«Я, правда, сперва смутился: можно ли начать огромную трагедию выдающегося произведения Шекспира с мелкого ничего не обозначающего дряблого смеха. Но я решил, что в конечном счете этот вопрос имеет чисто формальное внешнее значение. Мне кажется, что важно вначале ни в коем случае не дать зрителю почувствовать, что с Лиром произойдет трагедия. Надо зрителю показать совершенно безоблачное небо, чтобы тем острее он увидел потом грозовые тучи на этом небе.

Этот дряблый смех Лира также затем превратится в трагедии в лейтмотив (…)

В самый напряженный момент внутренней жизни Лира, в час его тяжелых невзгод, вдруг раздается этот легкий смех. Отчего? Оттого, что теперь, когда все былые убеждения развеяны, все былые ценности разрушены, Лир вспоминает о единственной бесспорной ценности, добытой им за всю прожитую жизнь — о Корделии.

В заключительной сцене Лир последний вздох свой кончает этим смехом. Но смех здесь уже не беззаботный, как в первом

акте. Теперь даже трудно решить — смех это или рыдание».

Незадолго до премьеры актеры вернулись с репетиции какие-то непривычно притихшие. Вид они имели весьма потрясенный. На кухне не гремели сковородки, не несло супом, не переругивались актерские жены. Было тихо, как в церкви.

Хотя я не пропустила почти ни одного спектакля» Лира», я по сей день жалею, что не присутствовала на той репетиции. В тот день папа впервые сыграл сцену смерти Лира.

Когда он вернулся домой, по его радостному и лукавому выражению лица — «показал я им сегодня, где раки зимуют!» — я поняла, что он доволен репетицией.

Спустя несколько дней, перед началом генеральной репетиции в театре ощущался тот непередаваемый словами радостный подъем, то общее возбуждение, которое и есть, по — видимому, предчувствие большого события. Только папа хмурился и ворчал: «рано радоваться… нечего делить шкуру неубитого медведя…» и прочие заклятия.

Ибо это и в самом деле были заклятия — папа был до ужаса суеверен и боялся» сглаза». На самом деле он, как и все — от рабочих сцены до постановщика спектакля С. Радлова — знал, что» Лир получился».

В последней сцене, которая всегда одинаково потрясала, Лир появляется с мертвой Корделией на руках, и обходя стоящих в безмолвии воинов, трижды тихо произносит» горе, горе, горе», затем бережно опускает на землю тело мертвой дочери со словами: «Собака, лошадь, мышь — они живут, а ты, ты не живешь, не дышишь! Дитя мое!«На мгновение отвернувшись от нее, он издает тихий протяжный стон. Потом, как бы вспоминая пройденную жизнь, отрывисто напевает песенку, которую пел обычно, возвращаясь с охоты — два — три такта и песенка переходит в смех, похожий на мучительный стон. Он ложится на землю рядом с Корделией, прикладывает палец к ее губам, едва слышно повторяет: «уста… уста… видите?«и умирает. По концепции Михоэлса эти последние слова Лира означают, что из этих уст он впервые услышат, правду.

Сцена эта ошеломляла. Пока медленно опускался занавес, в зале стояла мертвая тишина, и лишь когда актеры выходили на поклон, зал разражался оглушительными аплодисментами. И так проходили все спектакли, начиная от генеральной репетиции и кончая последним спектаклем» Короля Лира»18 января 1944 года.

Зато, как я ни пытаюсь вспомнить премьеру и вообще какие-нибудь подробности, связанные с этим днем — в памяти полный провал. Напряжение и волнение были столь велики, что день, как был, целиком выпал из моей памяти.

1935 год был годом Шекспира. Многие московские театры подготовили такие незабываемые спектакли, как

«Отелло» в Малом театре с Остужевым в главной роли, или» Ромео и Джульетта» в театре Революции с ученицей Мейерхольда М. Бабановой в роли Джульетты. Но по общему признанию Лир в исполнении Михоэлса представлял собой явление, равного которому не было.

О постановке» Лира» в Госете и об игре Михоэлса написано бесчисленное количество статей и исследований. Однако нигде не упоминается такое своеобразное явление, как зрители — «болельщики», смотревшие спектакль столько раз, сколько он шел в Москве. Посмотрев его однажды, они уже не могли усидеть дома, зная, что вечером на Малой Бронной Михоэлс играет Лира.

Одной из таких» болельщиц» была Лидия Туммерман. Она и ее муж — крупный ученый Лев Абрамович Туммерман были арестованы в декабре сорок седьмого года за» участие в сионистской организации» и за содействие» главному агенту Джойнта Михоэлсу». Произошло это еще при жизни отца, который и не подозревал (а может, подозревал?), что на него заводится дело, по которому будут сидеть десятки сотен людей, а его самого бандитски убьют темной ночью на улице чужого города…

Не пропустила ни одного спектакля и Вера Тарасова. Она сделала тогда множество зарисовок, которые помогают сейчас восстановить отдельные мизансцены спектакля. На одном из своих офортов художница сделала трогательную надпись: «Дорогой Соломон Михайлович! Большое спасибо Вам за ту радость, почти счастье, которое я испытываю каждый раз, когда смотрю у Вас Лира. 1. 2. 36».

Лева Шнапер или» Лейб — хирург», как звал его папа, в самом деле хирург в одном из отделений Боткинской больницы, раз и навсегда объявил, что он — постоянный дежурный на спектаклях Госета, но» если не идет Лир, то я дежурю в больнице». «Дежурных врачей», а тем более хирургов, в театре никогда не было, но Левушка Шнапер исправно приходил» дежурить» на каждый спектакль.

Однажды его присутствие оказалось более чем необходимо. На одном из спектаклей, в сцене, где Лир под победные звуки фанфар возвращается с охоты, слуга подает ему зайца, которому Лир отрезает ухо. Нож был настоящий, и вдруг я увидела, как папа промахнулся и вместо зайца полоснул со всей силы ножом по собственному пальцу. Кровь закапала на пол. До конца картины оставалось еще много времени, я сидела близко и, конечно, уже ничего, кроме этого окровавленного пальца не видела, но когда Лир со своими придворными наконец удалился,

за кулисами его уже ждал Лейб — медик, который немедленно наложил повязку королю.

Так и увековечен Михозлс — Лир с перевязанным пальцем в пятиминутном фильме, сделанном для заграницы по заказу Гордона Крэга.

На одном из первых спектаклей я обратила внимание на сидящего у самых дверей породистого седого господина. От прочей публики он явно отличался чем-то неуловимым, как пишет Булгаков про Воланда» словом, иностранец». Господин этот оказался великим и прославленным Гордоном Крэгом — английский режиссер и шекспировед.

В первом же антракте я встретила его в гримерной отца. Крэг взволнованно говорил с папой, не без помощи переводчика, разумеется. Отец стоял явно смущенный и растроганный похвалами знаменитого англичанина. Назавтра, во всех газетах появилась статья Крэга о» Лире».

«… Подлинной неожиданностью, без всякого преувеличения потрясением, оказался для меня» Король Лир»! Должен сказать, что эта пьеса является для меня самой близкой и любимой из всего шекспировского репертуара. Поэтому я шел в театр на спектакль с нескрываемым недоверием. Я даже попросил Михоэлса, чтобы мне было оставлено такое место, с которого я мог бы подняться и уйти, когда мне заблагорассудится. Но вот я в партере. Я понял сокровенный смысл жеста руки актера Михоэлса во второй сцене первого акта, и я понял также, что с такого спектакля уходить нельзя. Со времен моего учителя великого Ирвинга, я не припомню такого актерского исполнения, которое потрясло бы меня так глубоко до основания, как Михоэлс своим исполнением Лира. Я не умею и не люблю говорить комплименты даже там, где имею на это достаточно оснований.

Но какие бы похвалы ни были сказаны в адрес актера Михоэлса, это не будет преувеличением. Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира в театре. Потому что там нет такого актера, как Михоэлс».

Гордон Крэг, в числе прочих иностранных гостей, был приглашен на шекспировский фестиваль, проходивший в Москве в апреле 1935 года. После первого посещения Лира, он тоже стал» болельщиком» и не пропустил ни одного спектакля, а по возвращении в Англию прислал Михоэлсу приглашение исполнить на идише роль Короля Лира в Шекспировском театре Глобус.

Однако приглашения отец так и не получил. Кто надо за него ответил, что Михоэлс, к сожалению, болен и приехать не может. Мы же узнали обо всем этом из личного письма Крэга к папе, по

чистому недосмотру дошедшему до адресата, в котором Крэг сожалеет о его» болезни» и их несостоявшейся совместной работе.

Вместо того чтобы отпускать Михоэлса в Англию, было решено сделать маленький киномонтаж — отрывок изгнания Кента, проход пленного короля с Корделией и сцена смерти.

Сравнительно недавно был отснят документальный фильм» Шекспир на советской сцене», в который включили и фрагменты из Лира. Режиссер фильма подарил мне коротенькую киноленту, и мне удалось провезти ее, как и письмо Гордона Крэга с собой в Израиль. Увы, эти отрывки не могут дать даже отдаленного представления о спектакле, который стал в свое время событием в театральной жизни.

АСЯ ПОТОЦКАЯ

В разгар работы над» Лиром», летом 1934 года театр поехал на гастроли в Ленинград. Однако репетиции Лира продолжались с той же интенсивностью, что и в Москве.

Однажды после спектакля отец зашел поужинать в ресторан Европейской гостиницы и случайно встретил там своего старого приятеля Михаила Левидова, писателя, историка, критика, автора нашумевшей монографии о Свифте.

Левидов был человек острого желчного ума, вечный оппозиционер, принимавший в штыки эпоху, современников, весь мир. Вследствие полемичности левидовского характера, собеседник, вступивший с ним в самый невинный разговор, незаметно для самого себя оказывался втянутым в самый отчаянный спор. Другими словами, такого человека как Левидов невозможно было не арестовать.

В первые дни войны, летом 1941 года население Советского Союза получило неожиданный приказ сдать свои радиоприемники в ближайшее почтовое отделение. Как видно, Сталин боялся, что народ может узнать правду об истинном положении на фронтах. За отклонение от приказа полагался, как водится, арест.

Приемника у Левидова не было, говорил же он так много» рискованных» вещей, что арестовали, в конце концов, его самого. Кто-то помнится сострил: «Левидова вернут вместе с приемниками». Однако его не вернули. В 1958 году его дочь Майя Левидова, та самая, что была приятельницей Фалька и помогала ему прятать папин портрет, получила посмертную справку о реабилитации отца. В графе — причина смерти — прочерк. Один из его сокамерников, вышедший в 1956 году, нашел Майю и рассказал ей, что Левидов умер от голода в 1942 году во Владимирской тюрьме, хотя и был первоначально приговорен к» вышке» — высшей мере наказания, то есть расстрелу. Но во время войны, видно, рентабельнее было уморить голодом, чем потратить лишнюю пулю.

А в 1934 году он частенько наезжал в Ленинград, где тогда проживала некая Анастасия Павловна Потоцкая, дочь Варвары Васильевны Воейковой — Потоцкой, основательницы известной прогрессивной гимназии, которую закончили, кстати, сестры Марина и Анастасия Цветаевы и знаменитая Галя Дьяконова, будущая жена Сальвадора Дали.

Ася была некрасива, но в ее прозрачных зеленых глазах таилась какая-то такая загадочная и насмешливая прелесть, что

невозможно было оторваться от ее живого подвижного лица. Пользовалась Ася безумным успехом, и своим чарующим женским умом, которым отнюдь не по женски владела, она кружила головы многим достойным мужьям.

С ней-то и находился Михаил Левидов, когда отец поздней ночью зашел в ресторан Европейской гостиницы. Несмотря на то, что роман с Левидовым был в самом разгаре, Ася с первой же минуты, как она потом рассказывала, была покорена обаянием и незаурядностью Михоэлса, и немедленно направила на него свои чары. Однако прошло больше года, прежде чем ей удалось завоевать его — слишком свежи еще были раны от недавних потерь.

Молодая, на семнадцать лет моложе отца, капризная, требовательная, избалованная вниманием и поклонением интереснейших людей своего круга, Ася действительно» без памяти», по ее выражению, влюбилась в Михоэлса, но завоевывала его умно и тактично.

В 1935 году мы переехали со Станкевича на Тверской бульвар, поблизости от Малой Бронной, где в одном доме получили трехкомнатную квартиру на третьем этаже и большую комнату в общей квартире на первом. Нам точно на роду была написана эта беготня вверх и вниз; для папы же она как бы символизировала ту вечную раздвоенность, в которой ему приходилось существовать.

Практически же, дело заключалось в том, что четырехкомнатных отдельных квартир поблизости от театра не было, а удаляться от Малой Бронной на расстояние большее чем пять минут, папа категорически отказывался.

До Асиного переезда он жил вместе с нами, а в конце 1936 года поселился с Асей внизу, в огромной комнате с высокими потолками, тяжелыми шторами и книжными полками. Комнату эту мы уважительно, с папиной легкой руки, прозвали» кабинет».

Ася, как большинство женщин ее поколения и круга, хозяйством не занималась. «Дом» по — прежнему оставался наверху, а в» кабинете» принимались новые знакомые — Асины друзья — ученые. Ася была талантливым биологом и блестяще начала свою научную карьеру. Мои воспоминания приобрели бы некоторую скандальность, если бы я позволила себе коснуться причин, помешавших Асе в дальнейшем стать настоящим ученым.

Физик Петр Капица, хирург Александр Вишневский, биолог Лина Штерн стали частыми посетителями» кабинета». Отец, при всем своем артистизме, человек абсолютно научного склада ума — он и к роли подходил» научно» — сразу занял особое место среди этих людей. У него вообще всегда было огромное

любопытство ко всем наукам, связанным так или иначе с человеческой природой — будь то психология, биология или медицина. В застольных беседах со своими новыми друзьями он буквально поражал их своим ясным умом, своим пониманием и проникновением в самую суть фактически незнакомых ему вопросов. На тех самых высоченных полках и стеллажах, которые так удобно располагались в углублениях и нишах» кабинета», стали расти новые ряды книг по вопросам науки — физики, биологии, медицины. Книг было такое количество, что постепенно они стали буквально вытеснять хозяев дома, и с Асиной легкой руки» кабинет» приобрел еще одно прозвище — «книгоплощадь». Конечно, прочесть всего отец не успевал и не мог, но как почти всякий талантливый человек, он был талантлив не только в своей области, и с легкостью схватывал суть прочитанного им сложного научного труда.

Все дальнейшие годы Михоэлса связывала крепкая дружба и с Капицей и с Вишневским. Как-то Вишневский пригласил отца поприсутствовать на двух операциях. «Я, Соломон, твою работу видел, а ты мою — нет». Отец мнительный, как большинство актеров, нервничал и смущался, но согласился — взял верх постоянный жгучий интерес ко всему, что талантливо и незнакомо.

Отец мужественно выдержал обе операции до конца.

Работа Вишневского потрясла его — у него на операциях почти не было видно крови, больной под местным наркозом спокойно беседовал с хирургом, Вишневский терпеливо объяснял больному все этапы операции. Отец, прислушиваясь к их тихому разговору, попеременно ощущал себя то хирургом, то больным. Я могу только лишний раз пожалеть, что не вела дневники, и поэтому не могу привести здесь многочисленные папины рассказы то от имени врача, то от лица больного на операционном столе. Впечатлениями об увиденном отец делился и с актерами каждый раз неожиданно и по — новому переосмысливая это событие.

Нам же, вернувшись с операций, он принялся клясться, чуть ли не крестясь, что» У Вишневского-то пальцы, ей — Богу, видят!»

СКРОМНОСТЬ

Думая о папиной актерской судьбе, об успехе Лира (не только Лира, но именно Лир дал Михоэлсу возможность выйти за узкие рамки советской популярности и он был оценен в мировом масштабе), — я неоднократно возвращаюсь к мысли, что актерское искусство» смертно», и поэтому признание имеет для актера такое огромное значение. У Михоэлса же грандиозный успех Лира, грандиозный даже для такого признанного актера, каким он уже тогда был, вызывал лишь скептическое» чем выше взберешься, тем больнее падать…»

Я отнюдь не хочу сказать, что он не жаждал признания. Признание было необходимо ему как и всякому художнику. Но по — настоящему дорого ему было признание зрителя, те минуты, когда тот, замирая и затаив дыхание впитывал звучащие со сцены слова.

К официальному же признанию он относился с недоверием.

Он знал, что рано или поздно придет расплата за блестящий успех, за огромное признание и популярность, и потому на каждое очередное звание или награду реагировал библейским изречением: «Ни мне меда твоего, ни укуса твоего», или» Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь», — мысль, высказанная Грибоедовым и аналогичная библейской.

Однако, подобное равнодушие к успеху было продиктовано и скромностью. Истинной скромностью большого художника, которая происходит от сознания собственной силы.

Подобно тому, как по — настоящему сильные люди не нуждаются в упрямстве или демагогии, как средствах самоутверждения, так и высокоодаренные люди не нуждаются в похвалах и славословии. Михоэлс в славословии не нуждался. Оно претило ему.

Зато он был бесконечно щедр и бескорыстен в отношении своих коллег. Как глубоко волновало его искусство Улановой, которую он считал совершенством и божеством! Как он не скупился на похвалы! Как умел заразить окружающих своим отношением!

О его удивительном бескорыстии рассказал Н. Чушкин, секретарь антифашистского комитета на вечере, организованном Всероссийским Театральным Обществом в день семидесятипятилетия со дня рождения отца.

Н. Чушкин работал в комитете по Сталинским премиям, где Михоэлс был председателем секции театра и кино (той самой секции, от имени которой был послан отец в последнюю роковую

поездку). Вот что рассказал Н. Чушкин.

«И вот однажды случилась такая история. Всему жюри было известно, что имеются две кандидатуры на премию за лучшую актерскую работу: Михоэлс — в спектакле» Король Лир» и Бучма — в спектакле» Украденное счастье». Все были уверены, что премия будет присуждена Михоэлсу.

И вдруг Соломон Михайлович просит слова и, обращаясь к жюри, заявляет: «Позвольте мне рассказать о работе Бучмы в этом спектакле. Никто из вас Бучму в этой роли не видел, а я видел. Я был потрясен этой работой!»

И Соломон Михайлович начинает рассказ о спектакле, увлекается сам, увлекает всех не только рассказом, но и» показом» отдельных наиболее сильных сцен, и увлекает настолько, что жюри, совершенно забыв о кандидатуре самого Михоэлса, присуждает премию Бучме!

Члены жюри даже как-то не сразу могли опомниться.

Когда после заседания мы с ним вышли, Михоэлс сказал мне, улыбаясь: «Знаете, мне неоднократно говорили о моих ораторских способностях. Сегодня мне, кажется, удалось это доказать».

Я привела это выступление Чушкина по стенограмме. Сами мы об этом эпизоде ничего не знали. Папа не увидел в нем ничего специально интересного. А тот факт, что он не получил Сталинской премии, не мог его огорчить. Скорее наоборот. «Ни мне меда твоего, ни укуса твоего».

А уж как он избегал поклонников, до которых так падки актеры!

Была у них с Зускиным игра в» подкидного поклонника», как мы это называли. В нее играли, главным образом, в поездках — во всех городах, куда театр приезжал на гастроли, у Михоэлса и Зускина были поклонники — фанатики. Некоторые из них специально освобождались от работы, чтобы на вокзале с цветами приветствовать актеров Госета. Другие, побыстрее освободившись от каждодневных забот, спешили в гостиницу, где остановились Михоэлс и Зускин.

Они объявляли о своем появлении громким требовательным стуком в дверь. Нередко вслед за стуком в дверях появлялся сияющий Зускин и с невинной радостной улыбкой весело сообщал: «Ну вот вам, наконец, и ваш Михоэлс! А я пошел! У меня репетиция!»

Мгновение… и Зуса исчезал, оставляя счастливого гостя в папином номере.

Заказывается кофе и начинается разговор о» высоком» — об искусстве, о жизни, о литературе… Через некоторое время,

воспользовавшись короткой паузой, отец с сожалением, вздыхая, прерывает» интересный» разговор: «Ничего не поделаешь, мне надо забежать в театр, посмотреть, что там делается».

Пройдя с гостем по длинному гостиничному коридору, он останавливается возле одной из дверей и, постучав, произносит задушевным голосом: «Зуска, передаю тебе нашего друга. Кстати, я освобождаю тебя сегодня от всех репетиций, имей это, пожалуйста, в виду» — и, захлопнув дверь, говорит мстительно: «Ну, теперь пускай он повозится!». Это один из примеров игры в» подкидного поклонника».

Но и в Москве было не легче. Идем мы бывало по Тверскому бульвару в театр. Моросит теплый осенний дождь, тусклые фонари отражаются в мокром асфальте. Московский октябрьский вечер. Внезапно папа замечает на себе чей-то пристальный взгляд. Он глубоко натягивает на лоб неизменную кепку и деловито произносит: «Если этот тип подойдет, мы сделаем вид, что не понимаем по — русски». А тип уже надвигается: «Простите, вы — Михоэлс?»«Михоэлс идет сзади», — вежливо приподняв кепку, указывает папа на следующего за нами Зускина.

Зуса с готовностью подхватывает игру и прощается с энтузиастом — поклонником, уверенным что он побеседовал с самим Михоэлсом, лишь у дверей театра.

Поклонники, томимые жаждой общения с деятелями искусства, одолевали Михоэлса всюду — и в Москве и на гастролях. Один из случаев с» подкидным поклонником» описывает Ася:«… Мы были приглашены на свадьбу дочки одной из актрис театра. Пришли мы поздно, огромный стол был уже в полном праздничном параде, гости уже приступили к еде… Как только мы сели, Михоэлс сразу оценил обстановку. Не было сомнений: около вдруг оживившегося Зускина сидел какой-то родственник, приехавший откуда-то на свадьбу и, как пиявка, впившийся в Вениамина Львовича.

Михоэлс очень быстро поздравил молодоженов, поздравил родителей, поздравил гостей и, наспех закусывая, проговорил очень тихо, внимательно посматривая в сторону встающего Зускина:

— Он уже идет! Асика! Я смоюсь, хотя бы в переднюю; ты только не сразу уходи, а потом — будь так добра — подавай сигналы.

По правде говоря, я не сразу поняла, что значит — не сразу уходить, еще меньше — какие сигналы и где я должна подавать.

Но в толпе гостей Михоэлс уже исчез — как сквозь землю провалился; советоваться было не с кем, а Зускин, с его одержимым поклонником явно двигался в нашу сторону.

Проскользнув за спиной Зускина, я вышла в коридор, где тоже была толпа гостей, но Михоэлса не было.

Его не было и в комнате, где танцевала молодежь, его не оказалось и на кухне.

Тут меня осенило вдохновение: поискать Соломона Михайловича на лестничной площадке. Я вышла. В ярко освещенной кабине лифта проезжал (очевидно, с самого верхнего этажа) Михоэлс, который радостно помахал мне рукой, остановил лифт и спросил:

— Этот, с Зусой, здесь? Я сказала:

— Да, но я ушла до их прихода.

— Чудно! — сказал Михоэлс, нажимая на кнопку лифта. — Я поехал дальше, а ты, смотри, не простудись!

НАШИ БОЛЕЗНИ

Таким образом, любая пешая прогулка чревата была подобными встречами. Однако, далеко не всегда у отца или у Зускина хватало времени на розыгрыш и мистификации.

Ходить пешком отец вообще терпеть не мог (отчасти, из страха напороться на очередного любителя театрального искусства, отчасти из-за вечной нехватки свободного времени), и даже путь от дома на Тверском бульваре до улицы Горького — расстояние меньше километра — норовил проделать на такси, или, на худой конец, на трамвае. В этом случае, он, сломя голову, летел к остановке, галантно пропускал вперед всех» дам» — молочниц и мешочниц — и вскакивал уже на ходу, чтобы проехать одну остановку.

Провожали мы с Ниной его по очереди, и были, как и он, просто счастливы отделаться от посторонних и хоть несколько минут побыть с ним наедине. Времени ни на себя ни на нас у него не было, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы» пообщаться» с нами. Всю жизнь он воспитывал нас» на ходу».

Единственная причина, по которой отменялось все — репетиции, встречи, заседания — это наши болезни.

Элина реакция в этих случаях была однозначна — она запиралась у себя в комнате, и, рыдая, ломала руки.

Ее реакция вызывала у отца вполне законное раздражение, хотя сам он тоже немедленно впадал в панику. Однако, будучи человеком действия, он немедленно» принимал меры», как это у него называлось, то есть садился за телефон и» консультировался» с врачами.

Во всем, что касалось его лично — в жизни, в быту, в семье — он был до крайности беспомощным и беспокойным человеком.

Считая себя почему-то сведущим в медицине, он сам ставил нам диагноз: головная боль — меннингит; боль в горле — дифтерит; кашель — туберкулез и так далее.

Как-то я вернулась из школы раньше обычного — болело горло и начинался жар.

— Дифтерит, — обреченно установил отец и я уснула.

Разбудил меня приглушенный гул мужских голосов. Открыв глаза, я увидела около своей постели Мирона Семеновича Вовси, его друга профессора — ларинголога Темкина и почему-то еще одного профессора — уролога Гриню Иссерсона.

В комнате нестерпимо пахло больницей, и еще два незнакомых мне врача успокаивали паникующего папу.

«Консилиум» сошелся на том, что у меня обыкновенная

ангина.

Другой раз, когда Нина заболела воспалением легких, то в дни спектакля я должна была бежать с улицы Станкевича на Малую Бронную (расстояние минут в пятнадцать) и каждый антракт сообщать о ее состоянии. Казалось бы, почему не позвонить по телефону?«По телефону ты можешь сообщить мне температуру, но выражения твоего лица я не увижу. А так тебе труднее мне соврать», — с полной серьезностью заявил мне папа.

Вспоминается мне случай, который произошел с Ниной во время читки пьесы Кульбака» Разбойник Бойтро».

Отец был болен, и читка происходила у нас на дому. Каждый день, часам к пяти, приходили Зускин, Саша Тышлер и Лашевич, от которой папа всех предупреждал» не вступать с ней в беседу, иначе это никогда не кончится», и читка начиналась. На эти часы мне категорически запрещалось отлучаться из дому, я должна была сидеть у телефона, принимать звонки и записывать дела.

Во время одной из читок в дверях Элиной комнаты появилась Нина с вытаращенными глазами и полотенцем в руках, которым она усердно терла язык. Она не могла произнести ни слова, но из ее мычания удалось установить, что она просто языком решила проверить утюг — достаточно ли горячий. Язык пузырился и горел.

Мы долго не решались постучать к папе в комнату, откуда доносился мелодичный бас Кульбака, но, когда потребовался очередной кофе, я шепотом поведала папе о происшедшем. Боже, какая поднялась паника! Все давали свои советы, но папа никого не слушал, велел нам с Ниной срочно одеваться, сам быстро напялил пальто и кепку, в спешке путая калоши и нетерпеливо ругаясь, и, наконец, мы выскочили на улицу.

Папа то останавливал Нину и в тусклом свете фонарей принимался разглядывать ее язык, то кричал, что» мы ползем, как черепахи!«и» теперь вообще неизвестно, что будет!«и несся вперед с такой скоростью, что мы едва поспевали за ним.

Ворвавшись в поликлинику, он обрушил на регистраторшу такой поток любезностей, извинений и объяснений, что та просто растерялась. Наконец, мы попали к врачу, который успокоил нас, что страшного ничего нет, только легкий ожог, и отправил нас домой.

Однако, обратный путь был еще более нервный: «неудобно», «заставили ждать людей», «вечно с нами происходят какие-то глупости» — одним словом, весь родительский набор плюс папин темперамент.

По возвращении читка продолжилась, а Кульбак, приходя к нам, никогда потом не забывал осведомиться» Как утюг?»

Обычно же Кульбака не было слышно. Сидел он совершенно молча и в разговорах участия не принимал. Как-то папа даже спросил его: «Что же вы молчите, Мейшеле? Неужели у вас нет никаких мыслей по этому поводу?»

Кульбак, смущенно улыбаясь, ответил: «Мысли есть, только они во двор не выходят». Эта фраза навсегда осталась в нашем доме.

Кульбак был взят в Минске в 1937 году по обвинению в» еврейском фашизме» по одному делу с поэтом Изи Хариком и многими другими, погибшими в эти годы.

Наши детские выздоровления сопровождались огромным количеством обрядов, примет и церемоний.

Если, например, нам предстояло выйти впервые в школу в понедельник, то папа непременно выходил с нами на прогулку накануне, чтобы начать неделю» с его легкой руки», и так как» понедельник — день тяжелый» и т.д.

Обставлялся наш первый после болезни выход с большой торжественностью. Папа звонил из всех мест каждые полчаса, что он вот — вот освободится и мы пойдем гулять.

Часам к двум тетя начинала нервничать — в соответствии с родительскими предрассудками, казавшимися нам с Ниной абсурдными, она придерживалась мнения, что после болезни следует гулять пока еще тепло и не спряталось солнце. Мы же и слушать не хотели о том. чтобы выйти без папы.

Он появлялся, конечно, поздно вечером, усталый, мрачный, раздраженный, и тут же принимался нас торопить.

Мы же весь день готовились к торжественному выходу, но, понятно, в нужный момент не были готовы и тут начиналась страшная спешка, сопровождаемая убийственными замечаниями тети, что» вот, всегда так», «для всех у него есть время, только для детей — нет» и т.д. Папа только нетерпеливо морщился, пока мы впопыхах натягивали рейтузы, боты, свитера, платки и, наконец, отправлялись в долгожданную прогулку по заснеженному ночному Тверскому бульвару.

Папа велел нам молчать, чтобы» холодный воздух не попадал в рот», а сам внимательно следил, чтобы не размотался шарф, не перебежала дорогу черная кошка и не прошла бы мимо баба с пустым ведром. В этих случаях необходимо было трижды сплюнуть и пройти назад пару шагов.

Вся прогулка продолжалась не более пятнадцати минут, так как несмотря на позднее время отца всегда ждали одновременно, по меньшей мере, в трех местах, куда он уже безнадежно опаздывал. Поэтому мы обычно галопом неслись до памятника Пушкину и обратно, и по дороге папа рассказывал нам обо всем,

что произошло за день.

Нередко, вконец измученный, он предлагал нам следующую увлекательную игру: мы будем молчать всю дорогу, а кто первый не выдержит и скажет слово — тому штраф. Среди детей эта игра известна под названием» Кошка сдохла, хвост облез, кто первый промолвит слово, тот ее и съест». Игру эту мы, конечно, ненавидели, но приходилось согласиться, и мы покорно молчали до самого дома.

А для папы эти пятнадцать минут были единственными за весь день, когда он мог спокойно помолчать и подумать. Мысли же у него были, как я теперь понимаю, самые мрачные, хотя с нами он и не делился.

ДЕНЬ В ТЕАТРЕ

Впрочем, как я уже писала, впадать в мрак Михоэлс мог себе позволить лишь очень редко, когда оставался наедине со своими близкими. Обычно же с самого утра он уже был окружен людьми.

Отец ночевал у себя внизу, но уже с девяти утра у нас в квартире начинал трезвонить телефон. «Простите, можно попросить Михоэлса?», «Михоэлс обещал сегодня выступить у нас в Доме Художника, мы ждем его к восьми вечера. Куда прислать за ним машину?»

Я не успеваю записать, как снова звонок: «Передайте, пожалуйста, Соломону Михайловичу, что звонили из Художественного Совета. У нас в восемь заседание. Машину мы пришлем».

И снова звонок: «Папа дома? Передай, что мы его ждем к восьми. Он обещал обязательно прийти».

Воспользовавшись паузой между звонками, я набираю папин номер, но там уже безнадежно занято.

Так начинался день. Три встречи, назначенные на один и тот же час, телефонные звонки и люди, люди, люди ждущие, рвущиеся, добивающиеся встречи с Михоэлсом.

Иногда, так и не дозвонившись, я спускалась к отцу и заставала его с намыленными щеками перед зеркалом. Рядом лежала телефонная трубка, которую он, прерывая бритье, время от времени подносил к уху. Я делала ему знак и громко звала, тогда он хватал трубку с колен и обращался к говорившему: «Простите, ко мне пришли, да, да, в следующий раз непременно».

Выяснялось, что вот уже сорок минут донимала его опасная собеседница, из разряда» мыслящих дам», которая, неожиданно дозвонившись, спешила поделиться с Михозлсом своими художественными, театральными и музыкальными впечатлениями, ну и, конечно, пригласить в гости.

Между тем, дело приближается к десяти часам — время начала утренней репетиции. Надо бежать. Вот это» надо бежать» я помню всю жизнь. Всю его неустроенную, бестолковую, лишенную удобств жизнь, он спешил, опаздывал, нервничал, отшучивался и никогда не жаловался.

Театр находился в пятнадцати минутах ходьбы от квартиры на Станкевича, и в пяти минутах ходьбы от дома на Тверском бульваре. Надо было только перейти Тверской бульвар и вот уже Малая Бронная. На крыше углового дома светилась по вечерам неоновая надпись» Московский Государственный Еврейский Театр».

Как не хватало этой надписи, когда театр закрыли! Как устрашающе непривычна была эта темная потухшая крыша!

Приходил он в театр с обычным домашним вопросом: «Ну, кто мне звонил?«Дежурная передавала ему список звонков: тут были и приглашения, и дела, и, главным образом, просьбы. Трудно передать, какое количество людей нуждалось в его совете и помощи, а порой и просто в добром слове. Помню стихотворение поэта Николая Адуева, кончавшееся строчкой: «увидел я Михоэлса и сразу успокоился».

Не успевал он переступить порог своего кабинета, как на него буквально наваливался с десяток поджидавших его людей — актеров, художников, драматургов и просто просителей.

Соломон Михайлович, — бросается к нему разъяренная костюмерша. — Вот Роза отказывается от этого платья, потому что оно ее полнит.

В углу сидит надутая зареванная Роза. Она не отвечает на приветствия Михоэлса, и при первых же словах костюмерши срывается с места и с рыданиями выбегает из кабинета.

Не успевает наладиться вопрос о потолстевшей Розе и ее платье, как выясняется, что какая-то Саррочка кого-то родила в Биробиджане и ей срочно требуются деньги.

Деньги для незнакомой Саррочки из Биробиджана берутся Михоэлсом прямо из кассы театра в счет своей будущей зарплаты (то-то никогда не было у него ни квартиры, ни денег), сравнительно легко достаются успокоительные таблетки для чьей-нибудь нервной тещи. Значительно сложнее обстоит с поисками квартиры для молодоженов или устройством на работу инженера — электрика — чьего-нибудь зятя.

Другой раз приходится выслушать исповедь несчастно — влюбленного студийца, или дать совет растерянной мамаше, как ей справиться с непутевой дочкой.

Так проходило время перед репетицией и в перерывах.

«Я обвешан судьбами», — вздыхал отец. И это было правдой.

Сказать почему он, при всей своей занятости, позволял этим судьбам так бесцеремонно наваливаться на себя, очень сложно. Всякое определение было бы слишком однозначным. Это не была сусальная доброта Деда Мороза, да и вообще не только доброта. И не только огромное живое любопытство к человеческим судьбам. Но еще и то чувство ответственности, которое свойственно только человеку, родившемуся как мой отец Старшим.

Однажды он признался нам с Асей: «Мне очень тяжело, и иногда мне кажется, что я один отвечаю за весь свой народ, не говоря уже о театре».

Я уходила утром из театра, проводив отца, и знала, что день пройдет в суматохе, что отец будет бегать из зала на сцену, отдавать распоряжения, объясняться с актерами, наслаждаться обществом Саши Тышлера, скучать на заседаниях и, по своему обыкновению, каждый час звонить домой и сообщать, где он.

Эта» телефонная болезнь» папы, которая, кстати, по наследству передалась и нам, была известна всем. Не успевал он закончить какую-нибудь деловую встречу, освободиться после собрания или репетиции, как он немедленно звонил домой и давал подробный отчет об истекшем часе и сообщал, как проведет следующий.

Поэтому, когда в январе 1953 года, после сообщения ТАСС и опубликования в» Крокодиле» статьи о» врачах — убийцах», где отец — «лицедей — Михоэлс» был назван» агентом буржуазной разведки, продавшим душу желтому дьяволу», к нам пришла заплаканная домработница Ксения — одна из немногих людей, не отвернувшихся от нас в то страшное время, и сказала сквозь слезы незабываемую фразу: «Да и когда у него было время шпионить, если даже я знала каждый его час!»

В тех редких случаях, когда мы обедали одни, без посторонних, отец, как правило, мрачно барабанил пальцами по столу, а то и раскачивался, как на молитве, что наводило ужас и трепет и на нас и на бедную тетю.

Обед проходил в гробовом молчании, а затем папа отправлялся вздремнуть» на полчасика». Мы выключали телефон, и дом замирал.

Получасом дело никогда не ограничивалось и, проспав лишних десять минут, он вскакивал, рассвирепевший, принимался суетиться и клясть себя за неизбежное опоздание на какую-нибудь встречу или пропущенный телефонный звонок. Однако, выйти из дома, не выпив кофе, он не мог.

Обычно дневной кофе сопровождался у нас одной и той же игрой: у папы было смешное пристрастие пить кофе из блюдца, с сахаром вприкуску, на манер русского чаепития, а чашку с кофе он ставил прямо на скатерть, на которой тут же расплывалось безобразное пятно. Я предусмотрительно обставляла его блюдцами, а он, стреляя глазами по сторонам, как расшалившийся школьник, раздвигал блюдца и все-таки ставил чашку прямо на скатерть.

Но в минуты полного мрака, даже эта дурацкая домашняя игра не соблюдалась.

Мрак этот наступал перед каждой премьерой, и, когда после дневного кофе он произносил сакраментальную фразу» такого провала еще не было», мы понимали, что теперь уже жизни не

будет.

В дни спектаклей он ничего не ел, пил кофе и уходил в театр еще засветло, задолго до начала спектакля. В пять он закрывался в своей гримерной, а спектакли тогда начинались в девять.

Эти четыре часа он проводил в уединении, наедине с самим собой, вернее, со своей ролью. Сам он говорил, что не нуждается в репетиции в день спектакля, и единственное, что ему нужно, это» как-то перестроить себя, забыть обо всем, обо всех и в таком состоянии выйти на сцену». Однако, эта перестройка требовала огромного внутреннего напряжения.

Сама я была свидетельницей того, как в Ташкенте в 1942 году Михоэлс, «перестроившись и забыв обо всем на свете», сыграл от начала и до конца» Короля Лира», не заметив толчка землетрясения, которое потрясло город. Толчок отдался в зале, с потолка посыпалась штукатурка, люди в панике заторопились к выходу, а он потом рассказывал, что лишь почувствовал легкое головокружение и больше ничего!

БАБЕЛЬ

После спектакля Михоэлс никогда не возвращался один: он очередной раз звонил домой и сообщал лаконично» мы идем». Что значило это» мы», никогда заранее не было известно. «Нас» могло быть и пять и двадцать пять.

От меня же требовалось выставить на стол все имеющиеся в доме тарелки, — папе казалось очень обидным, если кто-то из гостей оказывался обделенным! — и обилием посуды компенсировать недостаток продуктов. Запасов дома у нас не было. Правда, когда я успевала предусмотрительно забежать в магазин, тогда вдобавок к неизменной селедке с картошкой и колбасе, присоединялась суховатая в прожилках ветчина, «ровесница Октября», как называл ее папа. Но скромные наши ужины были не трапезами, а скорее застольем, и никогда не обходились без хотя бы четвертинки водки.

Я накрывала на стол, готовила ужин, ждала гостей, но, когда, наконец, бесчисленные гости с шумом и гамом вваливались в дом, меня немедленно гнали вон из комнаты спать. Я отвоевывала еще час, сидела с гостями, но время от времени по папиному требованию покидала комнату, и лишь после взрыва сочного мужского хохота, раздавался веселый голос отца: «Таленка, можешь зайти!»

Какое же это было наслаждение вот так сидеть ночами и слушать интереснейшие разговоры интереснейших людей! Папа задавал тон, направлял, участвовал, но никогда не вещал. Его замечания всегда были неожиданны, полны юмора, но именно потому, что они всегда были связаны по конкретному поводу, их трудно повторить.

Запомнилась мне одна из бесед с Бабелем. Тот как-то пожаловался отцу на отсутствие воображения. Папа даже задохнулся от изумления: «У вас нет воображения? У вас? Так что же тогда мне говорить?»

«Ну вы, Соломон Михайлович, поэт. А как поэту без воображения? А на моем щите вырезан девиз» подлинность». Когда я пишу совсем коротенький рассказ, мне кажется, что я его не одолею. Голова горит, судорога дергает сердце, если не выходит какая-то фраза. А ведь как часто случается, что она не выходит!»

«Но ведь ваша проза при всей своей лаконичности потрясающе образна! Чем же вы это объясняете?»

«Стилем. Языком и стилем. В этом все дело. Но это ведь еще не искусство, а строительный материал. Драгоценный

строительный материал, но не больше. Нет. Нет у меня воображения. Есть только жажда обладать им».

Эта исповедь потрясла отца. Ведь его пленяла именно образность в произведениях Бабеля. В то время он готовил роль Бени Крика в Закате, и те строительные материалы, о которых говорил Исаак Эммануилович, занимали его самого.

Роль эта, как и многие другие, над которыми работал отец, так и не увидели свет.

К. Паустовский вспоминает, как однажды, еще в Одессе, Бабель говорил: «Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился ангел или демон искусства, называйте, как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный вол. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется все-таки крест. Но отберите его у меня — и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок».

У Бабеля довольно быстро отняли этот крест, заменив его другим, под тяжестью которого» схлынула вся кровь из его сердца» и он пал на пути к своей Голгофе.

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ

Домашние ночные бдения (спать мы ложились, как правило, под утро) протекали по — разному.

Если настроение у папы было плохое, то в комнате царило напряженное молчание, и тишину нарушал лишь глухой стук в стенку из Элиной комнаты, которая, в очередной раз обнаружив у себя очередную» неизлечимую болезнь», укладывалась в постель в паническом страхе, что» врачи проморгали» и»теперь уже поздно». Я, как правило, моталась между Элей и столовой, где заставала еще более мрачную обстановку — Ася сидела, уткнувшись носом в тарелку, папа мычал себе что-то под нос, барабаня пальцами по столу, что у мужчин, как правило, означает высшую стадию раздражения. Чечик многозначительно молчал.

На том этапе атмосфера в доме полностью определялась Асиным настроением. А она мрачнела, если не была удовлетворена ее ненасытная жажда развлечений. Папа тогда еще этого не понимал и впадал в мрак.

Но в те вечера, когда папа играл, особенно если спектакль прошел удачно, все являлись домой в приподнятом настроении и засиживались порой до самого рассвета.

Если не было посторонних, то, поужинав, мы перебирались в Элину комнату и папа начинал развлекать ее и Асю.

Бывали вечера, посвященные актерским розыгрышам. Так мы узнали историю двух подкидышей. Два брата — Тарханов и

Москвин, оба большие актеры русской сцены — выступавшие на подмостках Художественного театра, сидели как-то в кабаке, разумеется, выпивали и пели старинную актерскую песенку: «Ах, актеры, ах, актеры…»

Тут папа перевоплощался в подвыпившего актера и исполнял нам песенку, безбожно фальшивя, старательно выводя рулады немыслиым фальцетом. Лицо его при этом выражало напряженную сосредоточенность и хмельной восторг.

Итак братья, посидев в свое удовольствие, вышли из кабака. Ночь стояла холодная и дождливая. Они побрели домой.

По дороге их осенила блестящая идея — раздеться догола в каком-нибудь подъезде и, позвонив в первую попавшуюся дверь, объявить что они подкидыши. Стали держать пари: кому» не слабо» первому раздеться и позвонить. Зашли в подъезд. Тарханов скинул шапку, Москвин сбросил пальто, Тарханов стащил с себя пиджак, Москвин — брюки… Так, раздевшись до ниточки, они, стуча от холода зубами, позвонили в чью-то дверь. Послышалось шарканье и заспанный голос шепотом спросил: «Кто там?»«Это мы, подкидыши», — ответили плачущие голоса. Дверь открылась… Чем закончилась эта история никто не знал Однако Эля чаще лежала у себя одна, вызывая меня ежеминутно стуком в стенку, чтобы пожаловаться на свое одиночество, на слабое здоровье, на то, что» у всех людей жизнь, а я одна должна тащить на себе весь этот груз' и т.д. Папу это раздражало, он сидел, покачиваясь и поти рая колени, а домочадцы старались на все лады развлекать скучающую и недовольную Асю.

В одну из таких ночей отец начал рассказывать нам сказку о Суламифи. Две или три ночи слушали мы эту прелестную библейскую легенду, а затем к нашим сидениям присоединился поэт Самуил Галкин, которому папа предложил написать текст к придуманному им либретто по опереттке Гольдфадена» Суламифь».

Галкин был переводчиком» Лира».

Мое первое воспоминание о нем связано со стихотворением, которое он написал и принес папе во время рабо ты над переводом» Лира».

Я, помнится, сидела дома с очередной ангиной и с любопытством слушала стихотворение под названием » Стек ло». На идише оно звучало как библейская притча: «Вот прозрачное стекло, и через него ты видишь весь мир; но стоит его немножко посеребрить, и ты видишь только себя».

Мне стихотворение страшно понравилось. Но мысль о посеребреном стекле я поняла не с точки зрения богат- ства, алчности, которая ударяет в голову и заслоняет мир, а решила, что речь идет о зеркале, которое тоже заслоняет открытый мир, так как кроме себя человек ничего не видит. Папа сначала удивился такой трактовке, но, подумав, сказал, что, пожалуй, я права и не стал объяснять мне сакраментальное значение серебра.

Галкин был поэт — лирик в самом классическом смысле этого слова. Человек он был, соответственно, рассеянный и меланхоличный, с печальными наивными глазами, только белого жабо не хватает и получается настоящий Пьеро, так, во всяком случае, воспринимала я Галкина в детстве.

Принадлежал он, если придерживаться папиной классификации, к категории» младших», и папа относился к нему бережно и нежно, защищая от нападок многочисленных критиков. О творчестве Галкина много спорили и в прессе он проходил, в основном, как» реакционер». Ярлык этот прилепили ему, главным образом, потому, что в стихах его явственно ощущался неповторимый библейский аромат.

Выступая в его защиту, отец говорил: «Наивно думать, что Галкин — поэт реакционный по той причине, что в его творчестве находят свое продолжение лучшие традиции еврейской древнеэпической литературы. Наоборот, это прекрасно, что для его поэтического творчества так характерна удивительная простота, сочетающаяся с библейской приподнятостью стиха».

Папа любил повторять, что у Галкина в мозгу спрятана волшебная шкатулка с драгоценными камнями и стоит Галкину нажать кнопочку, как из шкатулки сыпятся, как драгоценные камни, образы и рифмы небывалой красоты.

Галкин действительно был поэт божьей милостью.

Он единственный, кого я почему-то запомнила, когда мне

сообщили о папиной гибели. Я и сейчас вижу, как он нелепо, словно остолбенев, сидит посреди комнаты.

Через несколько дней с Галкиным случился инфаркт.

После ареста, он большую часть времени провел в тюремных больницах. По — видимому, это и спасло его от расстрела вместе с группой писателей 12 августа 1952 года. Всех расстреляли, а Галкина оставили, понадеявшись, что» ничего, сам умрет».

И Галкин действительно умер от неизлечимой сердечной болезни в 1956 году, успев после освобождения три года насладиться свободой.

Спектакль» Суламифь» не был для театра этапным. Но несмотря на то, что у публики он пользовался большим успехом, у еврейской критики вызвал большие споры. Особенно резко выступал против» Суламифи» М. Литваков, бывший тогда главным редактором газеты» Дер Эмес»(«Правда») и осуществлявший, как я теперь понимаю, политическую цензуру. Да и многие актеры возражали против постановки спектакля на историческую тему. Обсуждения происходили на производственных совещаниях — мероприятии, порожденном советской системой, когда любой слесарь и водопроводчик может сказать свое веское слово и дать ряд ценных указаний режиссеру и актерам. А заодно и композиторам, ученым и профессорам.

Одним словом, демократия по — советски. Эти совещания и собрания отнимали массу времени и сил, не говоря о нервах.

Отец работал над этой постановкой с большим увлечением, и создал на основе библейской легенды и опе — реттки Гольдфадена лирико — историческую сказку в поэтическом изложении Галкина.

Претензии, которые предъявлялись Михоэлсу, сводились главным образом к одному: «Зачем и кому это нужно?»

Пресловутое» обсуждение» или» совещание» по поводу» Суламифи» проходило два полных рабочих дня. Михоэлс внимательно выслушивал недовольства и упреки, а на третий день выступил сам. У меня сохранилось это его выступпение. Вот часть его:

«Сегодня» Лир», и я попрошу сесть поближе, так как не хочу напрягать голос. Я внимательно выслушивал вас целых два дня подряд и должен сказать, что если вначале были какие-то соображения на определенном уровне, то к концу это свелось к мелочным спорам.

Я не понимаю, почему, скажем, грузинский или узбекский театр может ставить народный эпос, а мы нет?

Что» несвоевременного» в том, что мы обратились к библейской теме?

Почему красивая любовь героя, отправившегося защищать Иерусалим от нападения врагов — «несвоевременна»? Тогда и тема» Отелло» несвоевременна.

У меня было много бесед с М. Литваковым, он хотел мне показать варианты своей статьи, но я отказался, не желая влиять на него своим мнением. Я допускаю, что в спектакле есть неудачи, но ведь не о них речь, а о теме…»

Производственные совещания проводились в рабочее время, но сроки сдачи спектакля от этого не менялись, и репетиции приходилось переносить на ночь.

В этих случаях все студенты, занятые в массовых сценах, оставались ночевать в театре, располагаясь на столах и диванах гримерной, так как уже не было транспорта, чтобы вернуться домой, а папа, заканчивая репетицию часа в три ночи, весело приговаривал: «Ничего, попозже ляжем, зато пораньше встанем!»

Я училась тогда в школе во второй смене. Занятия кончались в семь вечера. Как-то сбегая после уроков вниз в раздевалку, я увидела папу в сопровождении нескольких студентов. Я было испугалась — уж не случилось ли чего с Ниной или Элей? Но папа весело улыбался, и я тут же успокоилась. Оказалось, что выйдя из театра и увидев» какой кошмарный туман», он побоялся, что я не дойду до дома. Поэтому, захватив с собой всех, кто вышел вместе с ним, он отправился за мной в школу. Отец собрал девочек из моего класса, и мы проводили их домой, а то» нельзя допустить, чтобы дети одни ползли в таком тумане». «Детям» было по четырнадцать — пятнадцать лет.

Улица действительно выглядела сказочно. Желтые огни фонарей мутно светились где-то над молочной мглой, вдоль бульваров стояли, словно уснувшие, трамваи, машины двигались, как в замедленной съемке.

Добравшись до дому и накормив всю ораву студентов, мы направились на вечернюю репетицию, которая незаметно перешла в ночную. Мне было очень весело, я уже прикидывала, как можно будет завтра, не выспавшись, пропустить школу, а папа свирепствовал, носился из своего шестого ряда на сцену, сердясь что девочки недостаточно громко поют, что танец нечеткий, становился в хоровод, заражая всех своим неистовым темпераментом.

В какой-то момент, окончательно выйдя из себя, он остановил репетицию, схватил всех участников мужчин, и они почти бегом куда-то исчезли.

Через несколько минут все так же таинственно вернулись, явно повеселевшие. Папино лицо выражало облегчение.

Много лет спустя я узнала, что они были собраны в кабинете,

чтобы выслушать» настоящую русскую речь…»

Надо сказать, что в присутствии» дам» или» прекрасного пола», как он галантно величал женщин, отец никогда не позволял себе пользоваться выражениями, которыми так богат русский язык.

Когда он выходил из себя, будь то дома или в театре, он с силой опускал кулак об стол и разражался громким раскатистым» К чертовой матери!»

Но иногда его недовольство или протест выражались в самой неожиданной форме и в самых неподходящих местах.

Вернувшись как-то часов в одиннадцать после спектакля, папа сообщил, что приглашен в Кремль на очередной прием по поводу декады искусства какой-то республики. Приемы тогда проводились глубокой ночью. Переодеваясь, папа непрестанно ворчал, что вечно надо куда-то спешить, что» не дают человеку спокойно дома посидеть», какое отношение он имеет к Киргизской республике — словом, все что он всегда говорил, когда предстояло отправляться на официальный прием. Оборвав в раздражении все пуговицы на рубашке и шнурки на ботинках, и очередной раз переодевшись, он отправился в Кремль.

Я не ложилась спать и делала уроки, так как папа пообещал, что все равно» вся эта история не займет у него и часа». Однако часа в три ночи я начала беспокоиться. Около четырех раздался телефонный звонок.

— Это квартира Михоэлса? С вами говорит летчик М.,— услышала я прославленную фамилию. — Вы не подскажете мне ваш адрес, а то ваш папаша тут немножко выпивши, адрес свой позабыл…

— Господи, да что с ним случилось?

— Не беспокойтесь, все в порядке. Мы скоро прибудем. Примерно полчаса спустя, внизу хлопнула тяжелая

входная дверь и на лестнице послышались шаги. Отец появился в сопровождении легендарного летчика.

— Вот вам ваш папаша. В целости и сохранности. Он там сегодня немножко… того… свистел… — понизив голос и скашивая глаза в сторону, он тихо свистнул.

Я все поняла и у меня упало сердце. Была у папы такая, непонятно откуда взявшаяся у сына хасида, блатная манера: немного выпив он, если ему что-то не нравилось, любил вложить четыре пальца в рот и оглушительно свистнуть. Зная эту папину слабость, друзья постоянно дарили ему свистки, которые долго еще хранились в нашем доме. Один свисток был даже милицейский. Но свистеть в Кремле?.. На официальном приеме?!

— Хорошо еще я подоспел, — продолжал М., — вроде бы

никто не заметил.

Он вопросительно и сочувственно взглянул на папу. Тот смущенно посапывал, но вид имел весьма удовлетворенный.

Только в стране, где» невозможного нет», как сказал о России великий Салтыков — Щедрин, могло произойти такое чудо — человек свистел в Кремле и его не арестовали на месте!

А ведь произошло это в 1937 году, как раз незадолго до премьеры» Суламифь».

Премьера состоялась 11 апреля 1937 года.

Накануне, как обычно перед выпуском спектакля, отец впал в глубокое отчаяние и целый вечер твердил, по традиции, что» такого провала еще не было». Исключение из этого ритуального страха составлял, пожалуй, «Лир», когда даже он был настолько уверен в успехе, что почти не боялся сглазить.

Несмотря на все опасения Михоэлса, недоброжелательное отношение труппы и отрицательную критику еврейской прессы, спектакль имел большой успех. Он продержался в репертуаре до самой войны.

«РЕВИЗОР» ГОГОЛЯ

«Несвоевременная» тема еврейского фольклора вызвала неудовольствие и у руководства. Вскоре после премьеры» Суламифи», Михоэлса вызвали в Комитет по делам искусств, с тем чтобы предложить поставить что-нибудь из русской классики. Например, «Ревизора» Гоголя.

Сколько Михоэлс ни убеждал начальство Комитета, что абсурдно ставить Гоголя на еврейском языке, когда рядом, в Малом театре, его так блестяще играют по — русски — ничего не помогало. Тогда Михоэлс заявил: «Хорошо, я это сделаю, но с условием, что вы придете по первому моему зову».

Он сам взялся перевести на идиш первую сцену из» Ревизора», а затем заявил, что намерен принять участие в клубном вечере Дома работников искусств.

Туда-то и устремилась вся театральная Москва, прослышав что Михоэлс и Зускин собираются что-то показать.

В первых рядах сидели Немирович — Данченко и Тарханов, Климов и Яблочкина — словом, лучшие актеры старого поколения Художественного и Малого театра.

На сцену вразвалку вышел Осип Михоэлс и начал знаменитый монолог, известный наизусть каждому сидящему в зале. Но не на идише:

«Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, будто бы целый полк затрубил в трубы… Что делать? Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится» и т.д.

Отец произносил свой текст, нисколько не комикуя, но акцентируя каждое слово. Затем появился Зускин. Он извивался, летал по сцене, произнося не менее известный монолог Хлестакова.

Оба играли блестяще. Публика стонала от смеха. Им долго не давали уйти со сцены.

Хитрость удалась — неожиданно гротескное звучание гоголевского текста на идише — сделали свое дело. К Михоэлсу больше не приставали с русским классическим репертуаром.

Здесь я должна сделать оговорку — Михоэлс по — настоящему глубоко понимал и любил русскую литературу и поэзию. Память у него была великолепная, и он нередко читал нам наизусть Пушкина, Тютчева, Лермонтова и Блока, Фэта и Бальмонта. По существу, именно он научил меня любить того же Гоголя и Салтыкова — Щедрина; Лескова и Достоевского. Его отказ ставить русскую классику на идише объяснялся

абсурдностью самого требования — он считал, что сама по себе идея провокативна в условиях России, где те же пьесы идут в оригинальном русском варианте в блестящем исполнении русских же актеров.

«Как я могу играть русских, когда даже руки, даже пальцы у меня еврейские» — и он вытягивал руки со своими короткими выразительными пальцами, «знаменитые руки Михоэлса»,— как вспоминают все, кто его видел.

Свою абсолютную принадлежность к еврейству Михоэлс привносил во все: начиная со своих ролей, когда он Лира трактовал, как вариант Иова, и кончая официальными выступлениями, где он нередко цитировал совсем непопулярную тогда Библию.

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД

Наступил тридцать седьмой год. Увлекательные беседы во время наших ночных посиделок стали прерываться тяжелыми паузами — прислушивались к каждому неожиданному шороху на лестнице. Толпа гостей заметно поредела, и когда папа сообщал по телефону» мы идем», ни о каких двадцати четырех, и даже двенадцати тарелках не могло быть и речи. В эти годы мы почти не ложились спать — отец не уходил к себе вниз, боясь что за ним придут и нам не удастся попрощаться.

Мы сидели, ужинали и разговаривали, как обычно, но обострившийся слух наш был постоянно прикован к входной двери, и при каждом ее стуке мгновенно воцарялось молчание.

Каждый день приносил известия о все новых и новых арестах друзей и знакомых. Напряжение усиливалось, попытки поддержать непринужденную застольную беседу терпели фиаско, фразы повисали в воздухе, оборвавшись на полуслове. Даже Ася, подавленная событиями, на время утратила вкус к развлечениям, и, если не было спектакля, они с папой целые вечера просиживали наверху.

Как-то за довольно ранним ужином, протекавшим в тягостном молчании, папа потребовал бумагу и стал что-то деловито писать. Через пару минут он положил перед нами листок и попросил каждого расписаться. Бумага гласила:

«Сей ужин съеден в ночь на 24 октября 1937 года. Настоящим выносим сердечную благодарность Нине, которая своим кашлем оживляла шумную беседу за столом во время ужина».

Но иногда нервы сдавали, и при очередном стуке двери часа в три ночи, папа звал меня в коридор, и весь как бы напружинившись, произносил: «Ну вот, кажется идут…»

В один из таких вечеров он попросил меня не отрекаться от него, если его заберут. «Да что ты, папа», — с ужасом выдохнула я и уткнулась ему в плечо. Так мы и стояли у входной двери в ожидании стука или звонка. Но тогда его время еще не пришло.

Эта чудовищная папина просьба» не отрекаться» от него не была случайностью. И уж меньше всего он мог предположить, что я могу так поступить. Но отречение от близких становилось реальным фактом биографии многих незрелых умов.

Школьников учили следовать примеру доблестного героя Павлика Морозова — пионера, донесшего на своего отца, а затем и убившего его, как врага народа. Именем юного доносчика назывались школы, улицы, дома пионеров. У всех нас постепенно опрокидывалось сознание. Естественное, казалось бы, явление —

поддержка близких в минуту опасности — становилось сверхъестественным героизмом. Разумеется, к нам это не относилось, но фраза, сказанная отцом, была данью времени.

А. Солженицын говорит:«… именно этот год сломил душу нашей воли и залил ее массовым растлением».

Я училась тогда в седьмом классе, и всех нас из пионеров переводили в комсомол. Перевод делался автоматически, с соблюдением единственной формальности — от каждого требовалось заявление с просьбой о приеме его в комсомол.

Как раз в эти дни мы решили всем классом собраться на квартире одного мальчика, родители которого были арестованы.

Назавтра меня вызвал к себе секретарь школьной комсомольской организации:

— Вот ты, — сказал он мне, — в комсомол собираешься, а у тебя все друзья — дети репрессированных родителей. Ты сначала подбери себе друзей, а потом мы тебя и в комсомол примем.

И он протянул мне мое заявление.

— Я не выбираю себе друзей по этому признаку, — ответила я и, порвав заявление, вышла из кабинета.

И тут лишь я поняла, что наделала. Шутка ли сказать — порвать заявление в комсомол!

Надо немедленно бежать к папе! Меня охватила настоящая паника, колени дрожали, ноги были ватные, я с трудом тащилась на Малую Бронную. Страх был так велик, так всепоглощающ, что в первые минуты я чувствовала, что в голове все помутилось, мысли путаются и даже такой, само собой разумеющийся вопрос — кто же донес на меня? — не пришел в голову. Узнала я это много лет спустя от своей соученицы.

Путь до Малой Бронной показался мне бесконечным. То я видела, как меня в наручниках тащут вниз по лестнице, то мне рисовался арест отца, которого обвиняют в нелояльном воспитании дочери, и я начинала трястись, что меня еще, чего доброго, оставят на свободе, а заберут как раз его.

Добравшись кое-как до театра, я первым делом осмотрелась, нет ли поблизости» черного ворона». Машины не было, а в окне кабинета я заметила папу. Целого и невредимого!

Когда, задыхаясь, я влетела к нему в кабинет, то после совершения традиционного поцелуйного обряда — так уж у нас было заведено: сколько бы раз в день мы ни встречались, папа всегда целовал нас в обе руки и щеки, а мы его в правую руку и в лоб — он спросил, что со мной стряслось.

Я молча показала то ли на стенку, то ли на телефон — знакомый каждому советскому человеку условный знак, означающий что кто-то может услышать.

Папа понимающе кивнул, и мы вышли из театра.

— Мы пойдем в кафе, там меня ждут Тышлер и Левидов.

А по дороге ты мне все расскажешь.

Мы медленно шли по Горького в Националь. Я в сотый раз рассказывала, папа просил повторить, «что он сказал», а» что ты сказала», «неужели взяла и порвала?«и, улыбаясь, удовлетворенно кивал головой.

Усевшись за столик с Тышлером и Левидовым и заказав кофе с коньяком, он обратился к своим друзьям со словами:

— Давайте выпьем за мою дочь. Она совершила сегодня акт гражданского мужества.

Все торжественно выпили. Я сияла от гордости.

Однако в чем состоял этот» акт» он никому, даже Асе, не рассказал. Время вынуждало к скрытности. Кто смел открыто высказывать свои взгляды? Даже жене. Даже детям.

В те годы мы отдавали дань времени тем, что не ложились спать в ожидании ареста. Спустя десять лет, в сорок седьмом году, отец, не таясь (не потому что можно было, а потому что уже иначе не мог), открыто протестовал против Нининого вступления в комсомол. Один из аргументов меня потряс: «ты еще поплатишься за это!«Что значит поплатишься? Однако и это пророчество отца сбылось.

В 1953 году, после сообщения ТАСС об» Убийцах в белых халатах», ее изгнали из комсомола за» активное сокрытие антигосударственной деятельности отца». Решение вынесли на высочайшем форуме — собрании городского Комитета комсомола, так как более низкие инстанции не хотели» с этим связываться». Мы были парии, «неприкасаемые».

У Надежды Мандельштам я прочла, что лето тридцать седьмого года они с Осипом Эмильевичем жили» на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михоэлса»(«Воспоминания», стр. 319).

Этого я не знала, но в принципе, как ни старался отец скрыть от нас свое отношение к происходящему, его поведение говорило само за себя.

Зимой 1937 года сняли с должности директора Госета Иду Лашевич.

Ида Владимировна была женой известного коммуниста, севшего по обвинению в меньшевизме, ревизионизме, троцкизме и прочих смертных грехах. Кругленькая, розовощекая, суматошная Ида Владимировна тоже была коммунисткой, что и способствовало ее назначению на место директора театра — не члены партии не могли занимать подобную должность.

Отец уже прекрасно понимал, что механизм срабатывает по

неизменной схеме: «увольнение — исключение из партии — арест», поэтому в день, когда уволили Иду Лашевич, отец вернулся из театра сумрачный и молчаливый. Наспех поужинав, он сказал, что уходит и не знает, когда вернется.

Пришел он около четырех утра. На следующий день повторилось то же самое.

Так продолжалось больше недели: чернее тучи уходил он после спектакля и возвращался лишь под утро. Я ничего не спрашивала.

А спустя дней десять он тихо сообщил мне: «Взяли Иду Лашевич. После того, как я ушел». И тут он рассказал мне, что сразу после увольнения он отправился к ней домой. Лашевичи жили в доме правительства на улице Серафимовича. Купив папиросы и водку, отец явился к ней со словами: «Я пришел к вам, как мужчина к мужчине. Будем коротать ночи за приятной беседой, попивая и покуривая».

«Я боялся, — рассказывал отец, — что за ней придут, когда она будем совсем одна. Ведь зто так страшно — уходить одному. Недаром говорят: «на миру и смерть красна». Но мой расчет оказался неверным — я считал, что после четырех уже не приходят, а ее забрали в шесть утра».

В эту ночь, после ареста Иды Лашевич, папа совсем не спал. Мы расхаживали с ним по длинному узкому коридору на Тверском бульваре. Отец курил одну папиросу за другой, главным образом помалкивал, а я разгуливала вместе с ним, совершенно забыв, что завтра в школу, что Эля, увидев свет в коридоре, может обрушиться на меня со скандалом, что уже светает… Меня переполняла гордость от папиного доверия ко мне, и гордость за него самого — такого мужественного, благородного, совсем как герой повести» Один в поле не воин» Шпильхагена, которую я тогда читала.

В эти минуты я не думала, что нам обоим после бессонной ночи предстоит нелегкий трудовой день. Мы были вместе, и мне все было нипочем.

Единственный страх, который преследовал меня в годы самой ранней юности, это что папу заберут прямо с улицы, и мы никогда больше не увидимся.

* * *

Но время шло. Уцелевшие, вернее временно уцелевшие, продолжали отстаивать свое право на» подвиг и труд».

Композитор Прокофьев, встретив как-то Михоэлса, сказал:

«Теперь нужно только работать. Только работать! В этом спасение!»В те годы (1937–1938) Прокофьев еще мог найти спасение в работе, хотя официальный поход на искусство уже начался.В январе 1936 года в» Правде» появилась редакционная статья» Сумбур вместо музыки», разгромившая оперу Шостаковича» Леди Макбет», а вслед за этим появилась столь же беспардонная критика его балета» Светлый ручей».С тех пор на долгие годы музыка Шостаковича была под запретом, как» формалистическая».

Отбросив привычное ханжество, власти впервые выступили против не» соцреалистического» стиля в искусстве, начав с самого отвлеченного из всех видов искусства — музыки.Прокофьева эта кампания тогда почему-то не коснулась. Лишь в 1948 году его имя прозвучало рядом с именем Шостаковича в известном постановлении» О формализме в искусстве». Невзирая на государственные заботы, у товарища Сталина нашлось время собственноручно подписать приказ (!), запрещающий исполнение музыки композиторов — «формалистов» Шостаковича, Прокофьева и многих других.

Барственного, надменного Прокофьева ежедневно вызывали на собрания ССК, где он подвергался критике со стороны наиболее безграмотных и бездарных композиторов. Особенно усердствовал некто Захаров — специалист по частушкам и горький пьяница. Прокофьев сидел спиной к нему, не оборачиваясь, только шея его заметно багровела.Не выдержав пятилетней травли, Прокофьев заболел тяжелой гипертонией. Инсульт следовал за инсультом.5 марта 1953 года, в один день со Сталиным, Прокофьев скончался. Ему было 63 года.Это была та же медленная форма уничтожения, что и в случае с Таировым.

СХЕМАТИЗМ В ИСКУССТВЕ

Прав был Прокофьев, говоря отцу, что спасение только в работе. Процесс работы всегда захватывал Михоэлса, заставлял забыться. Однако в результатах, вернее в последствиях, никто не мог быть уверен.

Еще в марте 1936 года председатель Комитета по делам искусств Керженцев заявил, что статьи о музыке относятся равно и к театру, и вообще ко всем видам искусства.Поэтому волнение (отнюдь не творческого порядка) охватывало весь коллектив театра, когда наверху, в кабинете директора, представители Комитета по делам искусств решали вопрос быть или не быть спектаклю.Помню, как после просмотра пьесы Маркиша» Семья Овадис», весь состав Госета собрался в зрительном зале, ожидая приговора. Стоял приглушенный гул, переговаривались шепотом, когда послышались знакомые всем стремительные шаги. Все разом смолкли. Появившись в дверях, отец молча кивнул и зал разразился аплодисментами — на этот раз пронесло.

Но сам папа был страшно напряжен и взвинчен. Пьеса эта, как и все пьесы того времени, страдала схематизмом. Образы были надуманными и ходульными. Вместо живых людей с их достоинствами и недостатками, по сцене ходили некие обобщенные схемы, изъясняясь языком газетных передовиц и постановлений.« Семье Овадис» Михоэлс был постановщиком и исполнителем главной роли.

Никакие усилия автора, режиссера и всего коллектива не могли вдохнуть жизнь в те ходячие скелеты характеров, которые по велению времени и по прихоти» сверху» заменяли в спектаклях живых людей.

Схематизм, возникший в советской драматургии в тридцатые годы надолго укоренился на советской сцене и отбросил русский театр — один из лучших театров мира — на многие годы назад.В сорок пятом или сорок шестом году, отец на одном из выступлений ВТО позволил себе следующим образом охарактеризовать отечественную драматургию: «Если проанализировать большинство теперешних пьес, то они строятся так: стране нужен легкий сплав, для получения легкого сплава не хватает какого-то отечественного сырья. Нужно отечественное сырье. Будет отечественное сырье! Драматург решает это удивительно легко и просто.

Во время войны нужны были алмазы. Нет алмазов. Будут алмазы! Есть алмазы! Тема готова. Это схема.Такие схемы можно перечислять без конца. А мы живем как раз в эпоху, когда

опрокидываются схемы. Что было незыблемее неделимости атома? Понятие об атоме как таковом было понятием предельной неделимости частицы данного вещества. А теперь атом расщеплен. И не только атом, а ядро атома. Опрокинута схема, раскрыт мир! Освобождена энергия. Она появилась, она диктует и меняет жизнь.Как раз сейчас жизнь идет к тому, чтобы расколошматить во все стороны, разбросать и опрокинуть схемы, а в театре схема прет из всех щелей».

В большой степени схематизм определялся тематикой — пьесы, написанные не на современные темы, могли иметь и более живые характеры.У Госета в этом отношении были свои преимущества — он мог время от времени обращаться к своей собственной классике. Отдав должное требованиям начальства постановкой» Семьи Овадис», театр вернулся к своему репертуару.

«ТЕВЬЕ МОЛОЧНИК»

Было решено сделать спектакль» Тевье молочник» по Шолом — Алейхему в инсценировке Добрушина и Ойслендера.

Между постановками» Лира» и»Тевье», где папа сыграл последнюю свою роль, прошло три года. В» Тевье» отец был и постановщиком и актером. На протяжении всего репетиционного периода роль Тевье исполнял другой актер. Помню, как папа, вернувшись домой, с тоской говорил: «у меня на сцене сразу четыре невежды — два действующих лица и два исполнителя». Сам же он вступил в спектакль только перед премьерой.

Многие критики утверждают, что Тевье в его исполнении не уступает Лиру. Вспоминается фраза из статьи театрального критика Бачелиса:«… Кажется… кажется… Михоэлс в Тевье доходит до гениальности».

В отличие от предыдущих постановок Шолом — Алейхема, «Тевье» был решен реалистически, но по традиции Госета строился на музыкальных лейтмотивах, которые органически вплетались в драматическую ткань спектакля.

Основным лейтмотивом» Тевье» была песенка» мир задает извечный вопрос».

Однако несмотря на требования тех лет — спектакль был поставлен в 1938 году — ни постановкой ни игрой отец не давал ответа на этот вопрос. В финальном эпизоде Тевье изгоняют из насиженного гнезда, и он, бережно захватив табуретку, уцелевшую от его дома, уходит под мелодию той же песни. Сцена заливается ярким светом. Несмотря на кажущуюся оптимистичность, сцена эта производила глубоко трагическое впечатление.Тевье — молочник, как я уже говорила, последняя роль, которую отцу удалось сыграть. Он мечтал показать«Ричарда Третьего» Шекспира — роль была почти готова. Он ставил пьесу Бергельсона» Давид Реубени», где должен был играть главную роль… Но судьба решила иначе…

Один из крупнейших театральных критиков того времени Павел Новицкий считал, что образ Тевье — самое значительное, что создал Михоэлс.«… И таким гордым, мужественным, пытливым, сохранившим в страдании внутреннюю свободу и человеческое достоинство, изображает Тевье Михоэлс! — пишет Новицкий. — В этом образе он сознательно, в результате всех своих творческих и философских исканий, поставил грандиозную проблему народа, захотел изобразить великодушие, талантливость, сердечную глубину, насмешливый, скептический и патетический ум, страстный темперамент, чуткость,

неисчерпаемую жизнеспособность и воинствующий оптимизм еврейского народа. Таким показал Тевье — молочника Михоэлс, он сыграл народ, сыграл мужество, гордость и бессмертие народа».

Новицкий был одним из трех» подруг», которые могли часами сидеть у папы, не проронив ни слова. Другими двумя были Фальк и Завадский. Почему отец называл этих больших, отнюдь не женственных людей» подругами», трудно сказать. Так они и остались при нашем доме в качестве» подруг» — подруга Завадский, подруга Новицкий и подруга Фальк.

Павел Иванович Новицкий приходил с отцом то наверх, то вниз, терпеливо пережидая телефонные звонки, прерывавшие их серьезный разговор.

Он относился к Михоэлсу с каким-то бережным почтением. Дружба их началась с того, что Новицкий задумал написать о папе большую статью. Они подолгу беседовали на самые разнообразные темы — папу трудно было заставить говорить о себе, зато о своей работе он мог рассказывать до бесконечности.

Новицкому, собственно как и Фальку, хотелось разгадать глубоко спрятанное» я»Михоэлса. И потому в портрете, данном Новицким, звучит ничем и никогда не упоминаемая крамольная тема одиночества — ведь по всем канонам, советский человек одиноким чувствовать себя не может.

«Меня беспокоит горечь его улыбки и затаенная древняя печаль его глаз. Хочется подойти к нему, раздвинуть его плечи и тихо сказать: «К чему так много печали? Она порабощает ваш дух и парализует вашу волю». Но я не говорю этих слов Михоэлсу. Я веду с ним другой, смежный разговор. Меня интересует природа его скепсиса.

— Действительность не отрицается, но выдвигается другой принцип, что» горю и радости одна цена… Признание этого принципа означает трагическое безразличие к миру, обреченность человека. Когда пошатнулся ваш конкретный мир, вы ухватились за астрономо — биологический мир, который нельзя было осязать. Но ведь это значит, что вы конкретному человеческому миру сказали — «нет». Ведь это и есть одиночество.

Михоэлс смотрит на меня с сожалением и досадой.

— Скепсис, — говорит он, — был временным явлением. Когда мир шатался, в этот момент скепсис был выходом. Скепсис не есть мировосприятие, обязательное для каждого. Человек не рад скепсису, его не влечет к нему никакое благо. Жизнь сама предлагает ему в тяжелую минуту скепсис, чтобы он не погиб. Одиночества не надо бояться, одиночество существует всегда. В творчестве, в поисках, в размышлениях, в усилии мысли, в

страдании разве человек не одинок?»

Свою глубокую интересную статью о Михоэлсе Новицкий заканчивает словами: «Тевье требует продолжения». Но продолжению не суждено было осуществиться.

НОВАЯ ТЕМА

В апреле 1939 года, после торжественного празднования двадцатипятилетнего юбилея Госета, к Михоэлсу обратился корреспондент» Литературной газеты» с традиционным вопросом: «Каковы Ваши творческие планы, над какой ролью Вы сейчас работаете?«Отец ответил: «Моя тема — мир и человек, устремляющий свой взгляд в этот мир; действительность и мировоззрение человека, почерпнутое из опыта действительности — это, пожалуй, одна из центральных актерских и режиссерских моих тем. Об этом должен рассказать и спектакль, который готовлю я сейчас и который должен в ближайшее время увидеть свет рампы, это» Соломон Маймон» драматурга Даниэля.

А впереди работа над» Блуждающими звездами» Шолом — Алейхема. Две звездочки жизни зажглись на тусклом горизонте неказистой местечковой действительности. Злой рок черной тенью лег между этими местечковыми Ромео и Джульеттой…

А еще дальше — «Ричард Третий». Есть роли, над которыми актер часто задумывается. Это роли — мечты, владеющие им много лет. Я страстно желаю сыграть Ричарда Третьего, одного из самых циничных и противоречивых героев мировой драматургии, человека волевого, действенного, ни перед чем не останавливающегося, не привыкшего отступать.

Я хочу попытаться психологически разгадать природу, характер, душевный строй врага — врага всего человеческого, всего прекрасного, врага морально — устойчивого, сильного, нашего сегодняшнего врага».

Мы с Ниной вспоминаем много разговоров о» Ричарде», но все они относятся к послевоенным годам. Интервью» Литературной газете» было дано еще до войны, и там впервые прозвучала тема» сегодняшнего врага» с открытым признанием его силы, что шло абсолютно вразрез с государственной установкой: «враг — глупый и слабый». А с августа 1939 года, как известно, и вовсе не враг, а союзник.

Начиная с 1939 года не было ни одного выступления, пусть это касалось самых творческих вопросов, где бы он не напоминал о той страшной опасности, которая грозит человечеству, если не отнестись к ней с должной серьезностью.

Поэтому, когда в сентябре был заключен» Пакт о ненападении» и в газетах появились пасторальные улыбки Риббентропа и Молотова, для отца это было тяжелейшим ударом.

«Настроение тяжелое, о каком лечении можно думать? — писал он мне из Кисловодска, куда его заставили поехать врачи

после тяжелейшей гастрольной поездки. — Не понимаю, как можно довериться такому зверю?»

Письмо, к сожалению, не сохранилось — оно было изъято при обыске, но эти фразы я запомнила наизусть.

Хотя тогда еще невозможно было предвидеть масштабы катастрофы, однако Михоэлс воспринял поход Гитлера на Европу с остротой и болезненностью провидца.

Мне нередко приходится сталкиваться с неправильной, с моей точки зрения, оценкой роли Михоэлса в жизни евреев в советском обществе. Михоэлса сравнивают с маранами. Оценка принципиально ошибочная: мараны сохраняли в тайне верность своей религии, своему народу.

Михоэлс же открыто шел от еврейства к евреям, используя свой все возрастающий авторитет для помощи своему народу, для защиты его интересов.

В ответ на это к нему шла любовь и восторженное признание не только евреев, но и всей русской интеллигенции.

Между тем, эта чрезмерная популярность еврея и актера начинала вызывать беспокойство и подозрительность у власти и, в первую очередь, у Сталина.

Личность, подобная Михоэлсу, была неизбежно обречена на гибель в условиях сталинского режима, ибо существовала некая, едва уловимая зыбкая грань, за пределами которой неминуемая пропасть поглощала каждого, кто осмелился подняться над посредственностью.Так, например, объявив генетику вне закона, посадили и истребили блестящего ученого — генетика академика Вавилова.Маршал Тухачевский — слишком талантливый полководец, слишком незаурядный и обаятельный человек, который не укладывался в рамки допущенного — был расстрелян как» враг народа».

Но если Тухачевский, Вавилов, Плетнев, Туполев, да всех и не перечесть, были уничтожены или упрятаны за решетку, так как по тем или иным причинам вызывали злобу кровавого злодея, то главную опасность, как это ни парадоксально, представляли деятели искусств — поэты, художники, режиссеры, драматурги, прозаики — «работники идеологического фронта», как это тогда называлось.«Здесь убивают за стихи — знак неслыханного к ним уважения, потому что здесь еще способны жить стихами»,- пишет Надежда Мандельштам.

ЮБИЛЕЙ ГОСЕТА

Однако годы тридцать девятый сорок первый — были годами официального признания Михоэлса — актера, режиссера, общественного деятеля, педагога.

В тридцать девятом году отмечался двадцатилетний юбилей Госета. По установившейся традиции торжество обязательно сопровождалось награждениями.

Подобно тому, как, убив Михоэлса, присвоили театру его имя и назначили стипендию его имени в Государственном институте театрального искусства (Гитис), так и в преддверии уничтожения всей еврейской культуры в СССР, ее деятелей награждали высшими почетными званиями, орденами и медалями.

Система распределения почестей, а следовательно и благ, практиковалась следующая: учреждение представляло списки предполагаемых награжденных, а решение выносилось» наверху» — им всегда виднее.

Госет был учреждением особым. Здесь речь шла не только о сотрудниках театра, но и о писателях, поэтах, драматургах, которые имели к театру самое непосредственное отношение, но на службе там не состояли.

Поэтому у отца была особая задача — составляя списки к юбилею Госета, он должен был назвать имена людей, не занимавших в театре должностей. Следовательно, либо им надо было срочно придумать официальную должность, что при существующей бюрократии совершенно невозможно, либо давать пространные объяснения, что Госет не просто театр, зрелищное предприятие — но, в первую очередь, это центр еврейской культуры, и что без авторов, пишущих специально для него, он существовать не может, а значит, они, то есть авторы являются необходимой составной частью театра и т.д. и т.п.

Папа ездил на приемы, дозванивался в бесконечные инстанции, объяснял положение, назначал встречи и, в конце концов, свалился.

То ли он простудился, то ли переутомился, так или иначе его прихватил тяжелый приступ радикулита, которым он периодически страдал. Схватило, как всегда при этой болезни, внезапно.

Я спустилась утром, еще ничего не зная, и увидела папу в какой-то неестественной позе, сидящим в кресле. Я наклонилась, чтобы поцеловать его, но вместо привычного ласкового приветствия, услышала глухой раздраженный голос: «Что это ты топаешь так, что пол трясется?», — и с силой треснув кулаком по

столу, он простонал: «Боже, я теряю юмор!»

Тут мы с Асей не на шутку испугались. Ася бросилась звонить профессору Вишневскому. Тот немедленно приехал, но уговорить папу сделать новокаиновую блокаду (обезболивание по методу Вишневского, широко применявшееся в то время) нам так и не удалось.

Из всего синклита врачей папа почему-то предпочитал» фельдшера — доктора Гальперина» — так он почему-то называл высокого с одышкой старика, повязанного неизменным кашне сомнительной свежести, который лечил радикулит… раскаленным железом» по ходу нерва», как научно обосновывал папа. Это варварское лечение, после которого квартира заполнялась запахом паленого мяса, действовало безотказно. Ожог смазывался не менее первобытным зельем, папа распрямлялся и шел играть спектакль.

Но в этот раз фельдшера — доктора Гальперина не нашли, да и вообще мы с Ниной его больше не припоминаем. Боли были нестерпимые. Три дня и три ночи пала просидел в кресле. Если кто-нибудь из нас — Ася, Чечик, Нина и я пробовали уговорить его сделать укол новокаина, он злился и упрямо твердил, что» ему самому виднее что помогает, а что нет».Наконец он сдался. Укол был сделан и, через несколько дней, кряхтя и проклиная весь мир, отец пешком отправился в театр.

Время юбилея приближалось. Актрисы шили себе наряды и ревниво следили, чтобы материалы не совпадали, что было нелегко из-за» временных трудностей» с тканями — там всегда были» временные трудности» то с луком, то с ватой, то с пуговицами. По этому поводу даже существует формулировка — «временные трудности — постоянный фактор социализма».Элю, как всегда больную, я старалась отвлечь от мрачных мыслей заботами о туалете. Бедная, она не знала, что это будет ее последний выход в свет!

Подготовка к юбилею была в самом разгаре, когда однажды к нам ворвалась разъяренная Фаня Ефимовна — она заказала себе платье из шифона цвета морской волны и просила портниху сохранить это в тайне, а та самым предательским образом доложила, где и за какие деньги можно раздобыть это русалочье чудо, этот дивный шифон, и теперь (тут Фифиха заливается слезами) такое же платье будет у одной из актрис!

Эля слушала ее рассеянно, из-за чего произошла между ними серьезная размолвка; обе они апеллировали к папе, но он только не слишком любезно отмахнулся: «Мне бы со своими проблемами разобраться, а свои бабьи дела сами и решайте».Он тем не менее разбирался с проблемами всех и каждого, и лишь накануне

празднования спохватился, что ему самому нечего надеть. Мы-то ему все время твердили про фрак, но от одного упоминания фрака отец свирепел и заявлял, что он» не тенор, чтобы выступать во фраке».

И тут мы вспомнили, что со времени поездки у него сохранился смокинг. Каким образом он уцелел в нашем безалаберном доме до сих пор не понимаю!«Я в него не влезу, я стал старый и толстый!» — ему тогда исполнилось сорок девять лет — но смокинг прекрасно влез, и мы наперебой расхваливали папу, и его вид, и смокинг, опасаясь как бы он не передумал.

Наконец, наступил торжественный день. Зал был набит до отказа. На сцене ярусом расположились работники театра. Папа же стоял на авансцене возле кулисы, опираясь на палку. «Все равно придется все время вставать, принимать приветствия, так я уж лучше постою. А то как сяду, так и не встану», — объяснял он, когда мы забеспокоились, что придется простоять, возможно, несколько часов подряд.

Церемония начиналась с обязательного приветствия» товарищу Сталину». Без этого не обходилось ни одно официальное торжественное мероприятие. Приветствие это зачитывал Маркиш. Начал он, по своему обыкновению, очень тихо. Из зала послышались крики: «громче!», на что Михоэлс со своего места невозмутимо пообещал: «будет громче». Публика, знакомая с манерой Маркиша начинать и кончать любое выступление от пиано до фортиссимо, разразилась смехом и аплодисментами.

После положенных славословий в адрес» друга евреев и всех народов», начались бесконечные приветствия с адресами и подарками.Поздравить театр пришли даже работники второго часового завода. Какое отношение имел часовой завод к еврейскому театру трудно сказать, но таковы были» правила игры», лозунгом которой было» театр в массы!». И массы шли приветствовать театр.

Они преподнесли всем работникам нашего театра будильники собственного производства. Много лет еще можно было обнаружить в квартирах наших актеров странное деревянное сооружение с циферблатом, либо лежащее, либо стоящее вверх ногами, либо перевернутое на бок. Это была продукция второго часового завода. В нормальном положении ни одни часы не работали.

Во втором отделении Госет приветствовала театральная Москва. Буквально все театры, кто просто группой в несколько человек, кто в театрализованной форме (увы, я не помню эти смешные миниатюры и сценки, которые разыгрывались, как

приветствие) — произносили теплые, живые, человеческие слова, которые абсолютно не укладывались в привычные рамки формальной приветственной газетной казенщины. Помню, как на сцену выпорхнула группа актеров цыганского театра в пестрых юбках, с бубнами и гитарами, и их красавица — премьерша исполнила классическую» цыганочку» перед стоящим в позе Наполеона отцом, уже загримированным в Шимеле — Сорокера.

В заключение торжества наши актеры сыграли финал из»200 000», с текстом специально приготовленным к этому вечеру.Отец был награжден званием Народного артиста СССР и орденом Ленина. Возможности, возникшие у него с получением этих высоких званий, он немедленно использовал для улучшения бытовых условий жизни актеров Госета.К хлопотам по поводу квартир для актеров, которые по — прежнему ютились в тесных каморках на Станкевича, он приступил чуть ли не назавтра после получения звания.Сразу после репетиции он садился за телефон и начинался» обзвон».

Затем отобедав, он брал такси и отправлялся к какому-нибудь начальству по вопросу распределения квартир. Он обещал бесплатные билеты на» Лира», статью для газеты или выступление в клубе милиции — ведь вопрос проживания в Москве прежде всего решался в милиции и, наконец, добившись десятка квартир, он устало произнес: «Ведь я — ширма. Если будут говорить, что у нас есть антисемитизм, «они» могут со спокойной совестью ответить: «А Михоэлс?»

Тогда я впервые услышала от отца слова об антисемитизме. Террор, царивший в стране, касался всего населения вообще, и официальная политика, как мне казалось, не выделяла евреев. Но папе, конечно, было виднее. Он также предвидел разгул антисемитизма в СССР, как и опасность, идущую из Германии.

* * *

Отец, как известно, домоседом никогда не был, но вечера, вернее ночи после спектаклей, он любил проводить дома. Обычай этот в большой степени, конечно, подкреплялся и страхом, что» возьмут где-нибудь не дома, даже попрощаться не успеем».

Но, чем больше росло официальное признание Михоэлса, тем больше увеличивался на него» спрос» среди самых известных актеров русского театра.

Асина страсть к развлечениям с годами не уменьшалась, а скорее увеличивалась, она мрачнела, теряла юмор и нагнетала тяжелую атмосферу, если предстояло провести вечер дома. Папа,

усталый от непрерывного общения с людьми, тем не менее уступал, и отправлялся на ужины, встречи и клубные вечера. Наши ночные домашние посиделки стали редкостью. Встречались мы, в тот период, только за традиционным обедом, когда вконец измученный выступлениями, репетициями и вечными претензиями актеров, он приходил домой, садился за стол и погружался в мрачное молчание.

Мы с Ниной ни о чем его не спрашивали, понимая, что это, возможно, единственные за сутки минуты, когда он может себе позволить быть самим собой, «расшнуроваться», как он сам это называл. Ведь даже перед Асей он должен был постоянно» вести себя», иначе она заявляла, что он» начинает опускаться». Однако к Асиным слабостям он относился по — мужски снисходительно, и, невзирая на усталость и нежелание, шел с ней» развлекаться».

А время было тревожное. Тревожно было в мире. Тревожно было в стране. Тревожно было за папу.

РЕЖИССЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОТ'ЕЗД В ЛЕНИНГРАД

Примерно в середине июля тридцать девятого года, когда театр, как обычно в летние месяцы, был на гастролях, а мы — на даче, по Москве пронесся слух, что арестован Мейерхольд. В народе их имена часто путали, и отца называли» Мейерхоэлис». Это мы знали, но слух о Мейерхольде нас сильно переполошил. Если арестовали Мейерхольда — это ужасно, но если произошла очередная путаница, и на самом деле речь идет об отце… Не могли же мы себя утешать, что это только ошибка — случайный гибрид имен.

Я метнулась в Москву выяснять. Ужас заключался в том, что если слухи подтвердятся, то выяснять уже будет поздно и негде. Стала дозваниваться в маленькие местечки, то ли Житомир, то ли Умань, где должен был находиться в это время театр, но линия была постоянно занята.

Пока я безуспешно дозванивалась, раздался междугородний звонок, и сквозь какой-то космический шум и всевозможные помехи, я услышала родной папин голос: «Таленок, что слышно дома?«Я что-то пробормотала, что мы волнуемся, что говорят, что он заболел, но папа весело прокричал: «Не волнуйтесь! Пока я здоров! На днях дам телеграмму!«Разговор прервался.

Каким образом, зная что мы на даче и что Эля ни на шаг не отпускает меня от себя, он решил ночью вдруг позвонить домой? Мы так и не выясняли с папой этого, но и ничего сверхъестественного в этом неожиданном звонке не увидели. Логика всей тогдашней жизни подсказывала» подать голос, пока это возможно», как говорил папа.

С Мейерхольдом они домами не встречались. У нас в театре он был, по — моему, на» Лире», но я его не помню.

Знаю, что отец преклонялся перед ним. С восторгом и увлечением рассказывал дома о его постановках, считал Мейерхольда единственным современным режиссером, у которого надо учиться. Первый театр после Госета (где мы не так смотрели спектакли, как росли) был театр Мейерхольда, куда папа отправил нас с Ниной смотреть знаменитый» Лес» в его, мейерхольдовской, постановке.

В одном из своих выступлений Михоэлс говорит:«… Целый ряд театров, которые раньше боролись за утверждение своих принципов, приемов, методов, несколько нивелировались за последнее время, и это отнюдь не положительный факт…

Одиноко поднимает знамя лишь один из величайших борцов за утверждение синтетического театра, одинокий театральный рыцарь нашего времени Всеволод Мейерхольд».

Эти слова были произнесены в тридцать пятом году, когда хозяева еще не предприняли тотальный поход на искусство.

В июне тридцать девятого года в Москве состоялась режиссерская конференция, где Мейерхольд произнес свою последнюю речь. Некоторое время спустя он был арестован.

Театр уже давно был в Ленинграде. Папа, оставшийся в Москве из-за режиссерской конференции, страшно нервничал — «как они там без меня». Действительно, без него они перестали существовать. Но это случилось только через десять лет. А тогда, летом тридцать девятого года, он выехал в Ленинград в день окончания конференции.

Мне запомнился день, вернее этот вечер, хотя отец уезжал ежегодно, а иногда и по несколько раз в год.

Папы еще не было дома, но уже часов с восьми стал приходить народ. Все с поручениями. Какой-то журналист пришел за обещанной, но, конечно, не написанной статьей; муж какой-то актрисы притащил чемодан, забытый ею в спешке; уныло сидел у окна неудачливый еврейский поэт Сито, вечно попадавший в какие-то истории, из которых Михоэлс его вытаскивал. Забежали попрощаться и застряли в ожидании папы актер Абдулов с будущей женой Лизой. Одним словом, часам к девяти дом был полон людей. Около десяти папа позвонил, что скоро будет. Поезд в Ленинград уходил в двенадцать. Помню еще, что почему-то долго не зажигали свет, и так и сидели в тоскливых и долгих весенних сумерках, а когда спохватились, уже совсем стемнело.

Новый администратор театра, которому было поручено привезти папе билет, не переставал восторгаться, что общается» с такими интересными людьми». Я же непрерывно подносила ему стаканы с чаем, «только слабенький» — напоминал мне он всякий раз. Когда около одиннадцати папы еще не было, администратор забеспокоился: «когда же Соломон Михайлович успеет сложиться и отдохнуть перед дорогой?«Тут все, конечно, дружно расхохотались — не в папиной натуре было» отдыхать» перед отъездом.

Но, когда и в одиннадцать он еще не пришел, то забеспокоились уже и мы — как бы он не опоздал на поезд, ведь завтра ему играть!

В четверть двенадцатого он явился, как ни в чем не бывало, как всегда в сопровождении целой свиты. «Такси заказали?» — был первый вопрос. Когда кто-то из нас резонно ответил, что не знали на какое время заказывать, так как он где-то задержался, он

заорал истошно: «но ведь я сказал, что буду в десять!«Тогда Ася молча показала ему на часы, папа посмотрел и расхохотался своим заразительным смехом, но тут же опять пришел в ярость.

Такси. разумеется, сразу заказать не удалось — диспетчер по обыкновению отсутствовал. Зато, когда наконец ответили, машина была выслана немедленно. Михоэлса знали, по — моему, все московские шоферы такси. Еще много лет они, проезжая мимо нашего дома на Тверском бульваре, рассказывали нам, что здесь жил один знаменитый артист, который водил их к себе домой на чашечку кофе.

Итак, мы летели на Ленинградский вокзал, пренебрегая всеми правилами уличного движения и, когда примчались, поезд медленно отходил от платформы. Взмахнув на прощание чемоданом папа, по трамвайной привычке, вскочил на ходу в последний вагон, и поезд начал набирать скорость.

Смертельно бледный администратор отдувался, вытирал пот со лба и, припав к Асиному плечу, сдавленным голосом повторял: «У меня реакция… Соломон Михайлович — такой пунктуальный человек… у меня реакция…»

С тех пор, стоило папе не явиться вовремя домой, мы с Асей хватались за голову и говорили: «у меня реакция, ведь Соломон Михайлович такой пунктуальный человек…»

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МИХОЭЛСА

Через год после юбилея театра, в марте сорокового года, отцу исполнялось пятьдесят лет.

Папа с Ефейкой всю жизнь спорили, какого же числа они все-таки родились: Ефейка утверждал, что шестнадцатого, и в этот день приглашал гостей, папа же считал, что семнадцатого, но никогда этот день не отмечал. Известно было, что родились они в Пурим, но на какой день приходился Пурим, на шестнадцатое или семнадцатое марта в девяностом году, никто естественно не знал. Так они и не пришли к общему соглашению по этому вопросу, как, впрочем, и по многим другим.

У Ефейки была одна особенность — он любил давать советы. Всем и по любому поводу. Папе он объяснял, как распределить роли, кого из художников пригласить, как поставить спектакль и т.д. Начинал он обычно так: «Будь я на твоем месте, я бы…», на что папа неизменно отвечал:«… вот когда будешь на моем месте, то так и сделаешь…» Ефейка, подверженный настроениям, или посмеивался, или надувался и уходил в другую комнату.

Папин день рождения не справлялся вообще, и отмечался мимозами или подснежниками, которые он же сам и приносил нам, да пуримскими треугольничками с маком, испеченными кем-нибудь из актрис.

Однако в сороковом году, в год его пятидесятилетия, ВТО, ЦДРИ и другие театральные организации объявили, что намерены торжественно отметить его юбилей.

Отец пришел в ужас от этой затеи и отбивался как мог, доказывая, что скучнейшее чтение адресов никому радости не принесет, что все эти юбилеи больше похожи на панихиду, чем на праздник, и что он будет чувствовать себя покойником, который присутствует на собственных похоронах. Но устроители юбилея — Эскин и Филиппов, один — директор ВТО, другой — ЦДРИ, взялись за дело всерьез, и никакие папины уговоры не помогли. Правда, они клятвенно пообещали, что никаких адресов не будет, но если папа все равно откажется, то юбилей состоится без юбиляра.

Пришлось уступить. Устроители сдержали обещание — адресов не зачитывали, если не считать одного. Начинался он так: «Дорогой Соломон Михайлович! Природа подарила Вам голову поэта и сердце философа…» Принадлежал адрес все тем же и Филиппову. Затем зачитали теплое письмо от Немировича — Данченко, телеграммы от Таирова, от Яблочкиной, от Чкалова, Капицы… Да всех и не перечесть.

Совершенно неожиданно приветствовал Михоэлса Тарханов — он вышел, долго переминался с ноги на ногу, как попавший в столицу провинциал и, наконец, протянув руку» лопаткой», сунул папе старинный графин русского стекла.

Группа актеров театра Советской армии выступила с отрывком из спектакля» Полководец Суворов», где царь Павел Первый приветствовал юбиляра на идише. Многие актеры подготовили смешные, неожиданные приветствия, зал то и дело разражался смехом и аплодисментами и, ко всеобщему удовольствию, юбилей прошел весело и тепло. Во всяком случае ничего от» официального мероприятия», как это принято называть, в тот день не было.

СМЕРТЬ ЭЛИ

Эля на этом юбилее уже не присутствовала. После возвращения с дачи она окончательно слегла, и зиму 1939–1940 года пролежала в постели, не вставая.

С ней и раньше случалось, что она ложилась в постель заблаговременно, в предчувствии болезни, но на этот раз ее жалобы не прекращались, а врачи не могли поставить диагноз без больничного исследования. В больницу же идти она ни за что не соглашалась.

Стояла суровая морозная зима сорокового года.

Шла финнская война. От страшных морозов лопались трубы. В неотопленных школах даже в старших классах прекратились занятия. Мои одноклассники были в восторге, проводили время как хотели: болтались то друг к другу в гости, то в кино, я же не могла радоваться с ними вместе, так как в школу уже давно перестала ходить и круглые сутки сидела у постели измученной испуганной Эли.

Лишь в конце апреля, перед самым отъездом театра, удалось уговорить ее лечь в больницу. Папа был занят в первых спектаклях и вынужден был сразу уехать.

Гастроли, как почти всегда, начинались с Ленинграда. Перед отъездом папа бегал от врача к врачу, в итоге у Эли обнаружили туберкулез почки, но из-за полного истощения организма, до которого она сама себя довела своей безумной диетой, боялись сразу ее оперировать.

Папа приходил к Эле в больницу, и как маленькую уговаривал ее кушать, подолгу сидел возле нее, пытался уговорами и лаской вдохнуть в нее жизнь.

«Вот ты поправишься после операции и придется тебе с нами повозиться: Нинку надо везти на дачу, Таленке поступать в институт, я — на гастролях, кто же будет за девочками ухаживать? Обязательно покушай, иначе не будет сил выздоравливать…»

Но Эля слушала совершенно безучастно, и мне от этого делалось страшно. Все же отец уехал с надеждой, что после операции ей станет намного лучше. Однако через три дня после операции Эля умерла, так и не приходя в сознание. Маму она пережила всего на семь с половиной лет.

Я вернулась из больницы одна в пустую квартиру… Больше всего меня страшила встреча с Ниной: как я ей это скажу? К ее возвращению из школы мне удалось получить связь с Ленинградом, и папа пообещал, что завтра приедет и заберет ее с

собой. На следующий день он приехал, но долго находиться в Москве не мог и, забрав Нину с собой, вернулся в Ленинград назавтра после похорон.

Очередной раз дом наш осиротел. Я осталась одна и начала готовиться к выпускным экзаменам. Из-за болезни Эли я не посещала школу почти весь год. Перед отъездом отец зашел к директору школы, объяснил ситуацию, и меня допустили к экзаменам, фактически экстерном, что вообще не практиковалось, так как в подобных случаях просто оставляли на второй год. Папе же сделали исключение, да и обстоятельства были исключительные.

Я была абсолютно разбита, измучена, опустошена — к шестнадцати годам мне пришлось пережить так много горя, что, казалось бы, хватит на всю жизнь… Но самое страшное еще предстояло. Я тогда зачитывалась стихами и все повторяла про себя строчки Ахматовой» было горе, будет горе, горю нет конца». Папе я писала отчаянные письма. Один из его ответов у меня сохранился:

«Почему ты считаешь себя несчастной? Ведь оттого, что тебе пришлось на твоем, еще очень коротком веку, много горя испытать, рано еще назвать себя несчастной.

Горе человек у себя внутри бережет замкнуто и гордо, и пусть люди думают по этому поводу, что им угодно. Я знаю, в нашей среде считают, что для каждой неудачи, для каждой потери и каждого горя существует жесткая, твердая норма, сколько слез должен человек пролить, сколько солнца он должен видеть, и как громко он должен смеяться. В случае нарушения этой нормы, человек считается легкомысленным и даже распущенным. Такова логика многих…»

Я по сей день поражаюсь этому» соблюдению нормы», которую так точно охарактеризовал отец, когда в траурную дату прикладывается к глазам кружевной платочек и неприлично не пустить слезу.

А в этом письме было еще много беспомощных бытовых советов. Ведь ко всей его загруженности теперь, после смерти Эли, прибавлялась еще чисто бытовая забота о нас.

С какой трогательной бестолковостью он ее осуществлял! — в тех редких случаях, когда до этого доходило.

Однажды, когда я задержалась в институте, а Нина в школе, его посетила идея самостоятельно приготовить нам обед. Возвращаясь домой, я уже снизу почувствовала запах гари, у дверей квартиры мне уже все было ясно.

Коридор был полон дыма и чада, глаза разъедало, и я с трудом прочитала на белых, вырезанных из бумаги стрелах,

торжественную надпись» котлеты». Стрелы вели в Нинину комнату, к кровати, где прямо под подушкой с воткнутой стрелой стояла на матраце сковорода, а в ней четыре уголька.

Не успела я умилиться, как раздался телефонный звонок, и я услышала самодовольный папин голос (ни одна постановка не вызывала у него такого самодовольства): «Ну, как котлетки? Вкусно было? Я очень много масла положил!»

Я конечно сказала, что ничего подобного еще в жизни не ела, что было сущей правдой. Он вообще любил приводить в недоумение домашних хозяек, переспрашивая и серьезно записывая, как приготовить, скажем, воздушный пирог. Мы с Асей умоляли его не морочить голову дамам, которые вдохновенно объясняли ему, что» белки надо взбить отдельно».

Надо сказать, что отец совсем не был привередлив в еде, почти не замечал, что он ест, и всему на свете предпочитал котлеты, объясняя свое пристрастие плохими зубами, или фаршированную рыбу, которую я научилась готовить специально для него у нашей театральной буфетчицы. Увы, у отца никогда не было условий, которые позволили бы ему стать гурманом. Любил он, главным образом, традиционнную еврейскую кухню, но кому было в нашем доме этим заниматься? Единственный, кто умел вкусно готовить, была наша домработница Поля, с которой папа имел обыкновение побеседовать — речь у Поли и вправду была колоритнейшая.

Однако после смерти мамы Поля с горя запила, да так, что пришлось с ней расстаться.

Со смертью Эли кончилась пора хоть и не беззаботного, но. все-таки детства.

Некого было слушаться. Не у кого было просить прощения.

ЭТЕЛЕ КОВЕНСКАЯ

В сороковом году, после» присоединения западных областей», в студию стала стекаться молодежь из местечек. Идиш был для них родным языком.

Я навсегда запомнила жаркий сентябрьский день, когда маленькое помещение студии в Столешниковом переулке гудело от взволнованных молодых голосов.

Фаня Ефимовна, коверкая слова, пыталась объясняться на идише с поступающими. Ждали Михоэлса, который, конечно опаздывал.

Наконец он появился, и всех позвали в зал.

Первой к экзаменационному столу подошла высокая веснущатая девочка в завитушках. Красное в белый горох платье едва доходило ей до колен.

Михоэлс с нескрываемой симпатией улыбнулся девочке и первым делом спросил, сколько ей лет — на вид она была совсем ребенком.

— Почти шестнадцать, я уже скоро получу паспорт, — торопливо отвечала она, комкая в руках платочек.

— А что ты будешь читать?

— Переца» Набожная кошка».

Она вышла на сцену, и на наших глазах буквально пережила несколько перевоплощений: то она была кошкой, то автором, то самим Господом Богом. Михоэлс был в восторге. Обаяние, которое излучала эта девочка, моментально покорило всех.

Так впервые появилась в нашем театре его будущая звезда и героиня Этель Ковенская.

По дороге домой отец мне сказал, что, кажется, нашел Рейзл для» Блуждающих звезд» — ближайшего спектакля.

который готовился к постановке.

Действительно, с первых же репетиций Этель проявила свое необыкновенное дарование. Она на лету схватывала любое указание режиссера — ставил спектакль Михозлс — и понимала его с полуслова.

Но все трудности были впереди. Неопытная девочка могла поначалу играть только для Михоэлса. Если она не видела его, то сразу пугалась, путалась и сбивалась с текста.

Кончилось тем, что во время спектаклей Михоэлс усаживался в оркестровой яме, рядом с дирижером, и ободрял Этель своей улыбкой. Она же в роли Рейзл была совершенно обворожительна и необыкновенно хороша собой.

В дальнейшем Э. Ковенская стала одной из ведущих актрис

театра.

Премьера» Блуждающих звезд» состоялась в Ленинграде перед самой войной.

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

«Блуждающие звезды» — последняя постановка мирного времени. Премьера состоялась в Ленинграде, после чего театр отправился на гастроли в Харьков. Это было в мае. Войну объявили, как известно, двадцать второго июня сорок первого года. Не буду останавливаться на событиях этого дня — об этом написаны тома.

По радио прозвучали слова Молотова о» внезапном нападении коварного врага». «Внезапным» оно было только для населения, так как Сталина неоднократно предупреждали о намерениях немцев, но, будучи человеком непоследовательным в своей подозрительности, он предпочел довериться Гитлеру.

Буквально через несколько минут после объявления войны позвонил из Харькова отец и сказал, что он немедленно выезжает домой, а труппе театра билеты заказаны на двадцать третье. Действительно, назавтра мы уже встречали его, с удивлением констатируя, что в расписании поездов, пока что, наблюдается идеальный порядок.

Но актеры, выехавшие на следующий день, добирались уже целую неделю. «Идеальный порядок» не продержался и сутки.

Как кустарно и безалаберно готовилась Москва к обороне! К домам подвозили мешки с песком, и жильцы должны были переправлять его на крыши. В нашем доме этим делом заправляла темпераментная общественница» мадам Мессершмит», заслужившая это прозвище благодаря своему поразительному сходству с немецким бомбардировщиком. Она командовала всеми жильцами. Михоэлс, напялив чей-то фартук, суетливо крутился возле нее, безбожно путая все распоряжения, пока не выводил ее окончательно из терпения. Когда, наконец, «мадам Мессершмит» удалялась, взбешенная его бестолковостью, папа с облегчением говорил: «Ну вот. А теперь поработаем» — и мы, выстроившись цепочкой по всей лестнице, передавали друг другу ведра с песком. Отец стоял внизу и приговаривал на рабочий манер: «Раз — два, взяли! Еще взяли!». Через полчаса он объявил» перекур» и, усевшись на ступеньках, изображал то подвыпившего работягу, то болтливую старуху, постепенно втягивая в игру нервно веселившихся жильцов, радых любой возможности хоть на миг отвлечься от надвигающегося кошмара. Правда, в первые дни войны Москву еще не бомбили. Немцы, верные себе, строго соблюдали порядок и в этом. Они начали войну двадцать второго июня. Ровно через месяц — двадцать второго июля — с наступлением темноты объявили первую

воздушную тревогу. И с этого дня уже каждый вечер ровно в десять часов раздавался вой сирены. Любопытно, что подобную же педантичность проявил позже и Сталин (ведь и учителю порой есть что позаимствовать у ученика): тринадцатого января сорок восьмого года по его приказу был убит Михоэлс; тринадцатого января пятьдесят третьего года Михоэлс был объявлен» буржуазным националистом» и»агентом Джойнта». Впрочем, пристрастие маньяков, к точным датам — предмет отдельного исследования.

Штатный пожарник Госета возглавлял отряд противовоздушной обороны в нашем театре. Отец записался в боевую группу, состоявшую из молодых, еще не мобилизованных актеров. Однако после первой же бомбежки пожарник решительно запротестовал: «Вам, Соломон Михайлович, полагается более важный пост», и отстранил его от работы. Тогда он принялся ходить по инстанциям с просьбой отправить его на фронт в числе ополченцев — людей, не прошедших военную подготовку. Там ему конечно ответили, что» найдут ему другое применение».

Внешне он был необычайно подтянут. Брился два раза в день. Одевался с несвойственной ему тщательностью. Своей твердостью, собранностью и юмором он поддерживал и растерянных, охваченных паникой актеров, и своих многочисленных братьев, и всех нас. Но сам он, несомненно, был в не меньшей растерянности, чем остальные, хотя в первые два месяца войны, что мы провели вместе, он даже с нами не позволял себе» расшнуровываться», как мы это называли дома.

Между тем, пока им не нашли» другого применения», они с Зусой назначили сами себя» пожарниками» нашего дома. Их снабдили страшенными колпаками и варежками, в которых полагалось бегать на крышу гасить зажигалки в случае воздушной тревоги. В ожидании бомбежки папа с Зусой усаживались на лестничной площадке, куда мы выносили маленький столик с черным кофе, и коротали время в неторопливой беседе.

— Вась, а Вась,— спрашивал задумчиво Михоэлс, перевоплотившись временно в водопроводчика, — что там с канализацией? Спущает кран, аль не спущает?

— Да это ж, Петь, от напору зависить,— вдохновлялся Зускин.

Нередко их» профессиональная беседа» прерывалась воем сирен, и тогда, напяливая на ходу колпаки и варежки, оба бросались на крышу, тушить» зажигалки». Однако сразу после отбоя, вернувшись на свои места, они возобновляли свой разговор, вернее уже не они, а неподражаемые Петя с Васей — то слесари, то дворники, то водопроводчики.

Но в конце июля — начале августа бомбежки участились и длились до рассвета. Папа заставлял нас спускаться в бомбоубежище, где мы изнывали от духоты и страха. Нину же вообще невозможно было туда загнать.

Тогда отец решил отправляться с нами в метро, куда уже стали ходить целыми семьями. Отправлялись заблаговременно, пока не стемнело. Мы шли на станцию» Охотный ряд», недалеко от Красной площади. Москвичи тащили за собой свой скарб: кто узелок, кто чемодан, а кто самовар.

Лежали на железнодорожных путях, подложив под голову одеяло, коврик, а то и просто газету. Отца многие узнавали, подходили побеседовать и обсудить вопрос, занимавший всех — об исходе войны.

Михоэлс вежливо поднимался со своего неудобного ложа, отвечал что-нибудь неопределенное, вроде» поживем — увидим», или» надеюсь, все это скоро кончится» — да и что он, в самом деле, мог знать? — и снова укладывался на свою газету. В конце концов, все это превратилось в довольно утомительную игру.

Писатель В. Лидии в книге» Люди и встречи» вспоминает:

«Москва была темна, просторна и тревожна. Только недавно диктор возвестил: «Граждане, угроза воздушного нападения миновала». Мы стояли в темноте Охотного ряда, вглядываясь в невидимую улицу Горького.

— Когда снова откроются театры, надо будет начать с чего-нибудь шумного, веселого, чтобы люди встряхнулись! У меня от этих синих лампочек начинается радикулит, — кивнул Михоэлс в сторону вестибюля гостиницы» Москва» и, взявшись рукой за поясницу и изображая что именно от синего света у него начинается радикулит, он простился со мной и заковылял в сторону гостиницы».

ЭВАКУАЦИЯ

В середине августа вышел указ вывезти из Москвы всех детей до пятнадцати лет. Папа принялся судорожно рыскать по карте, висевшей у нас с первого дня войны, в поисках безопасного места, стараясь припомнить хоть каких-то знакомых, к которым нас можно было бы отправить. Наконец остановились на Свердловске — там жил дирижер Моргулян, работавший в двадцатые годы в нашем театре.

Надо было торопиться. Каждый день приходили из каких-то комиссий проверять имеются ли еще дети в квартире. (У нас всегда что-нибудь проверяли.)

Приказ касался, разумеется, только Нины, но я понимала, что папа не пустит ее без меня.

Накануне отъезда мы сидели внизу. Смеркалось. В небе висели аэростаты, похожие не то на рыб, не то на огромные варежки. Папа, держа наши руки в своих, тихо уговаривал нас, а заодно и себя, что для него спокойнее сознавать, что мы в безопасности, что как только представится возможность, он вызовет нас или приедет сам, клялся прекратить дежурства на крыше, обещал спускаться в бомбоубежище и так далее… Позже мы узнали, что все свои обещания он честно выполнил. Однако, в возможность обещанной им скорой встречи, он сам вряд ли верил, и был растерян и напуган предстоящим расставанием не меньше нас.

… И вот мы на вокзале. На путях стоит вагон — теплушка. Ефейка со своей женой уже погрузились, тут же еще один папин брат с двумя детьми.

Михоэлс, верный своему амплуа Старшего, отправлял в эвакуацию всех, кого любил.

Мы с Ниной мало что соображали. Помню только, как папа вдруг исчез и появился с пачкой папирос» Казбек», которую мне торжественно вручил. Очевидно, признавая за мной право» официально» курить, папа имел в виду поддержать во мне ощущение собственной взрослости и солидности, которое облегчило бы расставание.

И вот теплушка медленно трогается. Папа соскакивает на ходу. Мы расстаемся неизвестно на какой срок…

Когда мы увидимся? Что будет с ним? С нами без него?

МОСКВА ШЕСТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ

Отец с Асей оставались в Москве до шестнадцатого октября.

Это были памятные дни, когда сжигались бумаги, и московские мостовые и тротуары были завалены обрывками намокших от дождя обгоревших документов. Население было охвачено паникой. Страх, томивший людей всю их сознательную жизнь, прорвался, наконец, с визгом и улюлюканьем, наружу и погнал их, заторопил, заставляя бросить все и бежать, бежать без оглядки. Охваченные страхом, они не ведали, что, уцелев от Гитлера, они не минуют участи, заготовленной им Великим Кормчим… Любопытно и весьма характерно для наших светлых времен, что та часть москвичей, которая сознательно оставалась в Москве ждать немцев, была в дальнейшем награждена медалями» За оборону Москвы», и в большинстве своем, от Сталина не пострадала.

Зато бежавших догнали. И наказали» по заслугам».

Но в эти дождливые осенние дни сорок первого года было ясно одно — немцы рядом и потирают руки, готовясь разгромить Москву и уничтожить евреев во главе с Михоэлсом.

В захваченных городах развешивались его портреты с надписью: «так выглядит еврей!«Немецкая радиостанция на какой-то из оккупированных территорий уже объявила голосом Блюменталь — Тамарина, сына известной актрисы, бежавшего к немцам, что» недалек тот час, когда мы сотрем с лица земли кровавую собаку Михоэлса!»

До шестнадцатого октября театр формально продолжал работать. Актеры приходили, собирались у Михоэлса в кабинете и, главным образом, обсуждали военные сводки. Ася вспоминала, что даже готовилась какая-то новая постановка. Я ничего об этом не знаю.

Но в середине октября сводки стали совсем тревожными. Немцы подступали к Москве. В театре, как и повсюду, царила полная неразбериха. Никто, в том числе и отец, ничего не понимал и не знал, как будут развиваться события.

16 октября в шесть часов утра большая часть труппы Госета была эвакуирована в Ташкент.

Михоэлсу было предложено поехать в Нальчик, куда направлялись лучшие актеры московских театров, «золотой фонд», как их тогда называли. Но отец отказался. Как ни банально это звучит, но для него действительно не существовало жизни вне и без своего театра. Той же ночью он вылетел в Куйбышев, а оттуда в Ташкент. По — видимому, он отправился в

Ташкент через Куйбышев, чтобы получить официальное подтверждение на пребывание театра в Ташкенте — все государственные бюрократические учреждения находились тогда в Куйбышеве. В суете тех немногих лет, что папа прожил после войны, мы так и не успели уточнить с ним разные мелкие подробности.

Побросав в чемодан все, что попалось под руку, отец с Асей вышли из дома и пешком отправились на Казанский вокзал через затемненную притаившуюся Москву. Пробирались ощупью, стараясь не потерять друг друга в сутолоке потерянных, мечущихся в полном мраке людей. Наконец, добравшись до вокзала, они с трудом отыскали нужный вагон. На верхней полке расположился величественный, как всегда, Арам Хачатурян. Папа с Асей и Сашей Тышлером устроились внизу. Дорога была долгая. Поезд все больше стоял где-нибудь на запасзапасных путях, пропуская встречные эшелоны с солдатами.

Есть было нечего. Денег не было. Не было и вещей, которые другие пассажиры меняли на еду. Но, главное, невозможно было приобрести папиросы. А папа курил. Курил много, со вкусом, часто прикуривая одну папиросу от другую. Нередко он засыпал с зажженной папиросой в руках, о чем впоследствии свидетельствовали обгоревшие дыры, зияющие на одеялах.

Как всякий мужчина, он с трудом переносил голод. Но отсутствие курева вообще выдержать не мог. Когда иссякли последние запасы, и в их теплушке больше не у кого было» стрельнуть» окурок, отец начал обходить соседние вагоны. И если удавалось найти курящего, он присаживался на край вагонной полки и при свете коптилки тихо рассказывал в» обмен» на папироску библейские притчи, легенды и сказки. Казалось бы, не самый подходящий репертуар для подобной обстановки: вонючие и грязные вагоны больше располагали к сальным анекдотам. Однако библейская тематика, извлеченная из самых недр далекого детства, была так же привычна и естественна для Михоэлса, как для нас, например, «Сказка о рыбаке и рыбке». Одну из этих легенд я сама неоднократно слышала от папы. Повторяю ее так, как она мне запомнилась:

«Вызвал Господь Бог к себе Моисея. И оставался Моисей на горе Синай сорок дней и ночей. А когда спустился с горы, увидел, что народ сотворил себе Золотого тельца и ему поклоняется. Разгневался Моисей и бросил оземь скрижали с заповедями, врученные ему Богом. Скрижали разбились на кусочки, и народ кинулся подбирать их. Но одним достались только осколки с надписями» не», «не», «не», а другим все остальное. С тех пор так и разделилось человечество на тех, кому все дозволено и тех,

кому ничего не дозволено».

По вагонам быстро распространилась весть, что» Михоэлс рассказывает сказки» и вокруг отца стали, как всегда, собираться люди. Слушатели уже сами находили для него папиросы и являлись к рассказчику с» дарами».

По ночам вагонные пасторали прерывались, и наступала пора мучений: на верхней полке оглушительно храпел Хачатурян, сотрясая своим храпом небольшое купе. Наконец папа придумал выход из положения. Он привязал к ноге Хачатуряна кожаный ремень, другой конец которого держал в своей руке и всякий раз, когда спящий выводил чересчур шумные рулады, он дергал ремень, рискуя при этом свалить Хачатуряна с верхней полки себе на голову. Справедливости ради должна сказать, что сам Михоэлс храпел ничуть не меньше, но при всей своей самокритичности, почему-то этого недостатка за собой никогда не признавал.

В СВЕРДЛОВСКЕ

Однако все эти дорожные истории мы узнали от попутчиков отца уже после его гибели. А тогда, в самый разгар немецкого наступления, мы с моей четырнадцатилетней сестрой жили в Свердловске, в маленьком» летнем» домике балерины Свердловского оперного театра. Мне тогда было восемнадцать лет.

Чтобы окончательно не замерзнуть и хоть чем-то заглушить голод, мы вечерами просиживали в этом театре, слушая что попало: «Баядерку», «Пиковую даму» или» Садко». Приблизительно в конце сентября, во время очередного спектакля, нас тихо вызвал из зала какой-то неизвестный. Его лицо выражало торжественность, непонятную нам. Он сделал знак следовать за ним.

В просторной комнате, очевидно репетиционной, вокруг радиоприемника столпился народ. По радио звучал голос отца.«… Братья евреи всего мира!», — больше я ничего не расслышала. Это было его выступление на первом Митинге еврейской интеллигенции. Тогда он впервые сообщил о создании Еврейского Антифашистского комитета.

Хотя Свердловск и был глубоким тылом, однако война давала о себе знать и там, как несметными толпами беженцев, преимущественно из западных областей, так и устрашающей пустотой прилавков. (Впрочем, последнее мы наблюдали не только в Свердловске и не только во время войны.)

Голод, холодные уральские ветры, бездомные люди, дрожащие в своих легких леших одеждах и угрюмые неулыбчивые свердловчане — все это создавало тяжелую гнетущую атмосферу.

И тут вдруг этот московский митинг. Из всех городских громкоговорителей неслись голоса Михоэлса, Маркиша, Эренбурга и многих других.

Впервые за время войны по радио звучали не приевшиеся лозунги: «Все для фронта!», «Все для победы», а живые, искренние человеческие слова. Впервые вслух произносилось слово» еврей». Впервые открыто обращались к евреям.

Это подействовало на всех. Но по — разному.

Вся интеллигенция, еврейская и нееврейская, была взбудоражена — наконец заговорили о евреях, это» хороший признак». (Известное дело, все что касается евреев всегда означает какой-нибудь» признак», а евреи, со своим вечным оптимизмом, во всем усматривают» хороший признак».) Но были и такие — и их было большинство — которых этот митинг поверг

в ярость. Даже героизм, проявленный евреями в дальнейшем ходе войны, не помешал этим врожденным антисемитам пользоваться известной формулой: «Пока мы за вас кровь проливали, вы в эвакуации отсиживались и курочку ели!»(Это, правда, только конспект мысли, на самом деле текст куда более содержательный и насыщенный.) Нам с Ниной» посчастливилось» стать свидетелями зарождения этой, давшей в дальнейшем столь богатые плоды, идеи. Даже не только свидетелями, но и чуть было не жертвами.

Наша хозяйка — балерина забежала как-то в наш домик и сообщила: «Девочки, кто-то пронюхал, что у меня проживают дочери Михоэлса, и вас готовятся избить. Перебирайтесь-ка пока в наш дом, а там что-нибудь придумаем».

Мы, разумеется, с радостью приняли ее спасительное предложение. Нина, отогреваясь на широкой русской печи, целыми днями рассказывала сказки маленькому хозяйскому сыну. А мы с хозяйкой, тем временем, пытались что-нибудь придумать. Ее муж, еврей, старавшийся, впрочем об этом как-то не вспоминать, в наших разговорах участия не принимал. Однако, когда, однажды, я возвращалась поздно вечером домой, у калитки меня ожидал пьяный мужик, который при моем приближении деловито и молча приготовился опустить мне на голову то ли бревно, то ли топор. С перепугу я не разглядела, что он держал в руках, и бросилась со всех ног бежать к дому. К счастью он был настолько пьян, что догнать меня не смог.

Но со временем интерес к нам несколько поутих, и озверевшая пьянь переключилась на другие, не менее достойные» объекты», а мы снова перебрались в свою совершенно заледеневшую комнату.

С момента митинга по радио мы не имели от папы никаких сообщений.

От прибывающих в эвакуацию москвичей сведения поступали самые разноречивые. Одни говорили, что театр, кажется, эвакуирован, но куда — неизвестно. Другие сообщали, что Михоэлс уехал куда-то без своего театра; нашлись, конечно, и такие, которые охотно рассказывали, что Михоэлс сбежал в Америку.

Молчание отца меня пугало. Никакие объяснения друзей: «связь нарушена», «военное время» и тому подобное, не убеждали. Воображению рисовались самые кошмарные картины — попал в бомбежку, захвачен немцами, умирает где-то от голода. Но особенно беспокоила меня мерзкая сплетня об Америке. Беспокоила совершенно определенным образом, так как над подобной возможностью мы только могли посмеяться,

представляя себе как в условиях герметически закрытого Советского Союза кто бы то ни было может неузнанным» бежать в Америку». Но, с другой стороны, я догадывалась, что слух пущен» органами', ' и меня преследовало ощущение опасности.

Наконец, в середине декабря 1941 года, мы получили первую телеграмму, высланную к моему дню рождения, то есть к двадцать первому октября. С этого момента телеграммы — простые, срочные и молнии — стали следовать одна за другой. Правда, текст их никакой ясности не вносил. «Все здоровы. Скоро увидимся. Целую. Скучаю». Вот и все, с небольшими вариациями, типа» безумно волнуюсь» или как получил дирижер Моргулян: «умоляю срочно молнируйте здоровье детей Михоэлс». Но куда» молнировать»? Телеграммы слались проездом, и лишь по названиям некоторых городов и полустанков, мы догадывались, что путь отца с Асей лежит через юго — восток, а следовательно, может и в самом деле, они скоро окажутся в Ташкенте. И тогда… но дальше мы даже боялись заглядывать.

Наконец, после двухмесячных скитаний; папа с театром прибыл в Ташкент. Нам сообщила об этом опять-таки излюбленная папой телеграмма — молния, прибывшая на одиннадцатый день. И мы с Ниной стали собираться в дорогу.

ТАШКЕНТ

И вот мы в Ташкенте. Смрад, грязь. Городская площадь кишит голодными детьми, тощими котами, снующими повсюду, ободранными беженцами; и все это залито ослепительным светом южного солнца. Мы впервые видим пальмы и верблюдов, слышим вопли ослов. А люди лежат, ползают, собирают объедки, стонут, умирают на фоне этих ярких красок восточного города. Нас, приехавших с синими отмороженными ногами с пятидесятиградусного мороза совершенно ошеломило это сочетание нищеты и сказочного востока.

Измученные, голодные и грязные, после долгой и изнурительной дороги, мы с Ниной начали проталкиваться по площади к трамвайным остановкам, пытаясь выяснить у прохожих, как проехать к гостинице с громким названием» Националь». Ответы, естественно, были самые противоречивые. Долго ли коротко, но вот мы в гостинице и ждем встречи с отцом. Нам сообщили номер его комнаты, не помня себя от возбуждения, мы ворвались туда и с воплями» папа, папа!«бросились целовать стоящего спиной у окна коренастого человека. Он обернулся… это не папа!.. Мы оторопело уставились друг на друга и только теперь заметили, что в комнате полно народу. Тем временем человек, которого мы приняли за папу, принялся барабанить в стекло и что-то истошно вопить. Я бросилась к окну — на углу узкой улочки, на которой находилась гостиница, стояли Михоэлс и Чечик. На Чечике была шуба, за спиной дорожная сумка, из которой торчали валенки и буханка хлеба. Отец командировал его в Свердловск — за нами.

Я бросилась вниз, за мной все, кто был в комнате. И тут я его увидела. Он стоял в дверях гостиницы, неподвижный, с побелевшими губами, еще не веря своим глазам.

Пешком через весь Ташкент отправились мы в дом, где нам предстояло прожить большую часть войны и куда за два дня до нас переехали Ася с папой.

По дороге он рассказал, что накануне нашего приезда в Ташкент прибыли маленькая Асина дочка с тетушкой. Приехали они поздно вечером, никто их не встретил (телеграмма, разумеется, не дошла) и начали расспрашивать, как добраться до Михоэлса. Случайный прохожий вызвался им помочь, но, как и следовало ожидать, исчез в ближайшем переулке вместе с чемоданом. Так бы они и провели в поисках всю ночь, если бы неожиданно на их пути не возникла огромная мужеподобная особа.

—Как вы сказали? Михоэлс?

Несчастная тетушка принялась многословно объяснять кто такой Михоэлс, и кем они ему приходятся, но великанша прервала ее и строго приказала следовать за ней.

«Ди гутэ Гутэ» — прозвал в свое время великаншу мой отец. И, действительно, вся неисчерпаемая энергия этой женщины была направлена на совершение добрых дел и помощь ближнему. Какие только чудеса изобретательности и человеколюбия не демонстрировала она, появляясь то в театре, то у Михоэлса в промежутках между многочисленными отсидками. Однако гуманистам у нас почему-то всегда особенно доставалось, и большую часть своей жизни эта добрейшая душа провела, скитаясь по лагерям и тюрьмам сначала царской России, а потом сталинской.

Ее-то и встретили тетушка Титася с маленькой Варей. Натренированный в революционных бурях и тюремной тишине слух» доброй Гуты» помог уловить ей среди гула ночной, переполненной беженцами ташкентской площади имя Михоэлса, и она взялась доставить к нему Варю с тетушкой. Каково же было удивление и радость, когда, вернувшись поздно ночью домой, отец с Асей обнаружили перед закрытой дверью своей комнаты Гуту, Варю и Титасю.

Как я уже говорила, эта встреча произошла за два дня до нашего приезда, затем появились мы, и вот в небольшой комнате с тремя узкими койками поселилось шестеро человек. Но какое это имело значение, когда, наконец, после стольких месяцев неизвестности и разлуки, мы снова были вместе!

ТЕАТР ДЛЯ СЕБЯ

Итак вся наша семья занимала теперь одну небольшую комнату, и в этой непривычной тесноте создавалась неповторимая атмосфера близости и даже какого-то своеобразного домашнего уюта.

Мы жили в большом» казенном» доме, который ташкентские власти отдали на время эвакуации ученым. Среди них были историки Виппер и Струве, академики Ушаков и Каблуков, писатели Александр Дейч и известный экономист Левина, и многие другие виднейшие деятели науки и культуры. Жизнь их протекала в привычных для войны заботах и тихом кабинетном труде.

И поэтому наша комната, куда непрерывно приходили люди, где жизнь начиналась только после двенадцати ночи, когда папа возвращался из театра, вызывала у благочестивых академиков жгучий интерес. «Они заглядывают к нам как в грех», — любил говорить отец.

А у нас и впрямь, как у грешников в аду, вечно шипела на плитке раскаленная сковорода, на которой в немыслимой вони кунжутного масла. жарилась картошка. Ни такой жуткой картошки, ни такого растения — кунжут, ни такого черного масла, я никогда больше не встречала.

После целого дня напряженной и утомительной работы, отец возвращался домой в неизменном сопровождении кучки голодных и веселых друзей, и начинался пир, длившийся до трех — четырех утра. И хотя картошка была несъедобна, комнату наполнял чад, сквозь который едва пробивался слабый свет лампочки, а в углу спали Варька с Титасей, до чего же было вкусно и хорошо!

Усталость и напряжение, в которых проходил день, требовали разрядки. И тут начинались игры.

Как-то вечером отец вернулся домой вместе с Абдуловым, прекрасным актером Театра Революции. Оба были чрезвычайно оживлены объявлением, прочитанным только что на соседней двери: «Я, единственная женщина — член — корреспондент Академии наук СССР Фолкнер — Смит, требую, чтобы в часы отдыха никто не нарушал мой покой». В середине ужина отец неожиданно взобрался на стремянку, забытую каким-то рабочим, и с этой импровизированной трибуны произнес очень лихую речь. Абдулов, стоя внизу с граненным стаканом с водкой, подавал реплики.

Понятно, что я не берусь восстановить этот неповторимый

диалог, основным мотивом которого было вдохновившее их с Абдуловым сочетание слов» женщина — член». Но это была поистине вдохновенная импровизация! Мы покатывались со смеху, а они невозмутимо продолжали. В конце концов Ася взмолилась, чтобы они замолчали, так как боялась нашим смехом разбудить спящих невинным академическим сном ученых мужей.

Так как в Ташкенте Зускины жили далеко, то отцу явно недоставало партнера. Осип Наумович Абдулов с полным пониманием отнесся к этой слабости Михоэлса и с удовольствием включался в любую игру.

То, повязав щеку платком, он отправлялся с папой к известному пианисту Гольденвейзеру одолжить водки — «может сжалится». То, увидев как-то в окне старого узбека — ночного сторожа, они пошли договариваться с ним» отправиться вместе в Мекку». Их фантазия и изобретательность были неисчерпаемы, и каждый день Михоэлс с Абдуловым придумывали что-то новое.

И хотя война была одинаково для всех тяжелым, голодным и страшным временем, Михоэлс умел совершенно сознательно» впасть в беспечность» и заразить нас. А я на опыте всей дальнейшей жизни убедилась, что в те минуты, когда от нас уже ничего не зависит и мы не в силах что-либо изменить, ничто так не спасает, как легкомыслие. Впрочем, папе игры были необходимы, в первую очередь, как разрядка при той ответственности и нагрузке, которую он взял на себя.

Однажды мы попытались сосчитать, сколько у него должностей. Папа, вооружившись карандашом и бумагой, записывал под диктовку: 1) Руководитель Государственного Еврейского Театра; 2) Художественный руководитель Узбекского Оперного театра; 3) Председатель Еврейского Антифашистского комитета; 4) Член театральной секции Комитета по Сталинским премиям; 5) Профессор, педагог театральной студии; 6) Режиссер — постановщик Узбекского драматического театра и так далее. Мне трудно восстановить сейчас в памяти полный список папиных официальных ролей, но, добавив к этому» муж», «отец» и»брат» — должности, к которым отец относился с неменьшей ответственностью, — получалось что-то около двадцати.

Если учесть, что жара стояла изнурительная, транспорт в пору войны работал с серьезными перебоями, а расстояния, которые приходилось Михоэлсу преодолевать, разрываясь между репетициями, заседаниями, комиссиями и спектаклями, были огромными, просто непонятно, как он вообще что-то успевал.

И вот, по чьему-то распоряжению, была прикомандирована к отцу старая кляча с бричкой и древним узбеком — возницей, который ежедневно ранним розовым восточным утром возвещал о

своем прибытии стуком кнута в дверь: «Сулейман! Моя пришла!«Так начинался день.

Отец водружался на бричку и кляча медленно тащилась через весь город.

Среди евреев молниеносно распространился слух, что» Михоэлса можно застать по дороге». В итоге к концу пути он уже обрастал толпой.

С какими только просьбами к нему не обращались! То мамаша, волоча за руку упирающегося мальчика, умоляла отца достать струну» ля», без которой ее Боренька не может продолжать занятия на скрипке; то озабоченный муж просил договориться о роддоме, чтобы жена рожала» в приличных условиях»; то просили помочь устроиться на работу; то увеличить норму продовольственной карточки и так далее. Многие подходили, чтобы поведать Михоэлсу свою историю, попросить помочь разыскать близких.

Кончилось тем, что» просители» подарили ему самодельную чернильницу — непроливайку и ручку из лучины с перышком, привязанным суровой ниткой. С тех пор он прямо на ходу записывал имена и просьбы. Недаром отец говорил о себе: «Я обвешан судьбами».

Одного только мы никак не могли понять — как он, с его темпераментом и нетерпеливостью, мог выносить такое медленное передвижение?

Случалось, что бричка подкатывала неожиданно к нашему дому в середине дня, и тут уж папа» брал реванш» — стремительно, почти бегом он взлетал по широкой лестнице и мы, услышав его шаги, выбегали навстречу.

Одной из наиболее затянувшихся игр была игра в» Нет! Я не Байрон, я другой!». Вернувшись однажды домой, папа просунул голову в дверное окошко и заявил: «Нет! Я не Байрон! Я другой!». Так это и началось. На протяжении нескольких дней он изводил нас этой фразой, ничего другого от него нельзя было добиться. В ответ на любые вопросы: «Кофе хочешь? Что говорить, если тебе позвонят? Кого ты сегодня видел? В котором часу ты вернешься?«и т.д.,— мы слышали только: «Нет! Я не Байрон, я другой!«Но голосом, интонацией, мимикой и жестом, он умудрялся в корне менять весь смысл этой фразы, так что мы с легкостью понимали и» в котором часу он вернется», и» хочет ли он кофе».

Как-то он забежали домой перекусить с Сашей Тышлером. Разговор, помнится, был о том, как на определенных этапах истории религия находила свое отражение и в архитектуре и в костюме. Саша, поедая затируху, отвратительное изобретение

военного времени, набрасывал на обрывках бумаги готические храмы и повторяющие их форму головные уборы женщин; пирамидообразные прически древних египтян и луковки церквей, напоминающие, как он утверждал, кокошники. Папа тем временем пытался изобразить на бумаге сходство мечети с паранджой, что ему явно не удавалось. Бросив, в конце концов, эту затею, он воскликнул, завидуя Сашиному таланту: «Нет! Я не Байрон! Я другой!»

Я прочитала у Надежды Мандельштам, что Мандельштам считал работу актера и работу поэта» профессиями — антиподами». Однако актер, подобный Михоэлсу, который ставит себе задачей проникнуть в тайну своего» я»(«… в своих работах я только пытаюсь раскрыть себя…», — пишет он в одном из выступлений), — во многом уподобляется поэту, ищущему» разгадку жизни своей», по определению Мандельштама. Разница состоит в том, что у поэта есть протяженность во времени — его труд остается» в веках». Актеру же требуется сиюминутное самовыражение.

Михоэлс, лишенный из-за всевозможных нагрузок возможности создавать новые роли и новые постановки, вынужденный играть на сцене образы, созданные еще до войны, пытался всеми силами заполнить этот пробел. Вот один из примеров.

Летом 1942 года жена Алексея Толстого пригласила нас — Асю, Нину и меня — в числе еще нескольких» академических дам» нашего дома, принять участие в устройстве благотворительного вечера. Решено было устроить лотерею. Призы были неслыханной роскоши — пучок лука, мыло, галоши и прочие находки военного времени.

Мы занимались подготовкой к вечеру целыми днями: то бегали на базар, то скатывали лотерейные билетики, писали приглашения, носились в поисках призов. А в Ташкентском оперном театре тем временем проводились репетиции программы вечера, в котором готовились принять участие лучшие актеры, находившиеся в городе.

Последним номером или» гвоздем программы» шла одноактная пьеска, написанная специально для этого вечера Алексеем Толстым. Ставили — Михоэлс и режиссер Протазанов, а Толстой с Михоэлсом выступали в пьеске в роли плотников. Сюжет ее напоминает несколько рассказ Чапека» Как это делается».

В павильоне киностудии идут репетиции к съемкам. Кругом суматоха и беспорядок. Толкутся загримированные актеры, проносятся **с»** юпитерами» рабочие, вопит режиссер, призывая

всех к порядку.

В минуту, когда наконец наступает тишина, из-за кулис вдруг раздаются крики и брань — это два плотника (играют их Михоэлс и Толстой) избивают актера, загримированного Гитлером. Кто-то бежит их разнимать. Сцена пустеет. Зажигается надпись: «Полная тишина. Идет съемка».

И тут-то оба плотника появляются на сцене. Михоэлс, в старой сплющенной фуражке впереди, Толстой в драном берете сзади. В косоворотках, фартуках, с поллитровками, торчащими из карманов, они молча проходят по сцене. Их движения полностью совпадают. (Репетиций у» плотников» не было, но Михоэлс предупредил своего партнера, чтобы тот только все за ним повторял.)

Прошли. Остановились. Опять прошли. Снова остановились, без слов, одними жестами что-то обсудили, и, присев в углу сцены, принялись исступленно вбивать гвозди.

На сцену вылетают разъяренные режиссер и оператор. Безобразие! Сорвана съемка!

Плотников выгоняют. Снова вспыхивает транспарант

«Тишина. Съемка продолжается». И снова повторяется молчаливый выход плотников и эпизод с забиванием гвоздей, на этот раз уже в другом углу сцены.

Не знаю, кто получил больше удовольствия — публика, рукоплескавшая молчаливым плотникам, или исполнители. Что касается отца, дорвавшегося, наконец, до сцены, то даже в этой крошечной роли он сумел проявить свое изумительное мастерство.

С дуэта» плотников» началась неожиданная странная дружба Михоэлса и Толстого. Что связывало этих двух столь несхожих людей?

Один — человек далеко не барин. Он знал толк в вещах, коллекционировал антиквариат, во всех его манерах сквозила уверенность, и в жизни он чувствовал себя хозяином.

Другой — скептик, талмудист и мудрый еврей. Что касается вещей, то Михоэлс вещи не любил, и они отвечали ему тем же. Любая вещь просто разваливалась в его руках. Коллекционировать же что бы то ни было ему даже в голову не приходило. Среди скептиков не бывает коллекционеров. Да и расположиться по — хозяйски в жизни ему мешал его скептицизм.

Скорее всего их влекло друг к другу взаимное любопытство, ибо каждый был абсолютным представителем своей» породы», своих далеких корней.

Вообще, живое любопытство к людям было одним из

определяющих свойств его характера. Дом, в котором мы жили в Ташкенте, весьма способствовал удовлетворению этого любопытства. Нередко случалось, что выйдя из комнаты» на минутку», отец исчезал на пару часов. Заставали мы его то у известного химика Каблукова, то у историка Бертельса, то у профессора — лингвиста Жирмунского.

Разговоры касались, в первую очередь, войны. Как-то у Жирмунского папа сказал о немцах, вернее, о их врожденной сентиментальности: «сентиментальность — лирика палачей». Жирмунский пришел в восторг от точности этой формулировки, даже побежал за карандашом, чтобы записать и» где-нибудь использовать».

Папина неистощимая любознательность и глубокий интерес к наукам располагали к себе академиков, и те вели с ним бесконечные ученые беседы.

Однажды мы получили в подарок банку консервов, на которой были выведены непонятные нам иероглифы. Банка консервов — неслыханный деликатес по тем временам! Однако, движимый научным интересом, папа, вместо того, чтобы открыть консервы, отправился» на минутку» к академику — востоковеду Василию Струве с просьбой расшифровать таинственную надпись. Напрасно Ася умоляла его» пожалеть детей» и поскорее вскрыть банку. Любопытство взяло верх над голодом, консервы находились у Струве и тот сосредоточенно изучал надпись.

Назавтра он появился у нас с долгожданной банкой и сообщил, что надпись на ней гласит: «О, сады твои, Семирамида!«Наконец-то мы могли удовлетворить свои низменные инстинкты и съесть содержимое банки. Но не тут-то было!

С традиционным педантизмом ученого Струве, неудовлетворенный своим переводом, попросил разрешения» разобраться подробнее». Снова наша банка вместо того, чтобы быть использованной по назначению, стала объектом научного интереса.

Часов в шесть утра, а может быть и раньше, за дверью вдруг раздался высокий голос Струве: «Соломон Михайлович, извините ради Бога, но если я не ошибаюсь…»

Папа с трудом сполз с кровати и вышел в коридор. Струве продолжал:«… так вот, если я не ошибаюсь, тут на малоизвестном египетском диалекте сделана надпись: «О, Семирамида, сады твои!»

Пока мы изнывали от любопытства по поводу содержимого банки, папа со Струве с увлечением обсуждали всевозможные древнеегипетские наречия. Что касается банки с точки зрения

содержимого, а не науки, то там оказался компот. А о» садах Семирамиды» мы потом часто вспоминали.

Итак, к полуночи до рассвета и с рассвета до полуночи наша комната была полна народу. Зная, что недоедание потихоньку мучило всех наших гостей, мы с Асей, при всей скудности пайка, утаивали затируху, редьку или картошку, оставшиеся после обеда, чтобы подкормить их. Да и папа всегда старался привести с собой побольше голодных друзей, чтобы справедливо разделить между ними нашу скудную военную трапезу.

Но однажды отцу выдали килограмм настоящего парного мяса. По — моему, его даже прислали на дом из Узбекского театра оперы и балета, где он поставил оперу» Улук — бек». Мы священнодействовали над бульоном, представляя, как отец приведет за собой толпу страждущих, а самому ничего не достанется.

Но он пришел с одним — единственным Чечиком, поспешно осведомился готов ли обед и… запер дверь! Как же он, бедный, должно быть изголодался, если при всем своем гостеприимстве, позволил себе полакомиться мясом только в кругу семьи. И мы, семь человек, молча и самозабвенно поглощали один килограмм мяса.

—Еще пару постановочек, и мы полностью восстановим силы, — заключил отец, перед тем как погрузиться в блаженный сон.

Возможно, если бы Михоэлс дожил до старости и умер в своей постели, «окруженный родными и близкими», как это принято говорить, то воспоминания о таком далеком и нелегком периоде, как эвакуация, не оставили бы глубокого следа в его памяти. Произошли бы более интересные и яркие события, чем постановка оперы» Улук — бек», сыграны были бы новые роли, состоялись бы поездки и гастроли… Но в том-то и дело, что этого не могло произойти.

После папиной гибели мы часто пытались представить себе, «а что бы было, если бы…». Но весь дальнейший ход событий беспощадно доказывал, что никакого» если бы» быть не могло. Папина судьба была предопределена 'задолго до его физического уничтожения, ибо для того чтобы ликвидировать еврейскую культуру в СССР, надо было прежде всего избавиться от того, кто ее возглавлял.

Однако, будучи не только великим теоретиком, но и практиком, товарищ Сталин задумал прежде всего извлечь максимальную выгоду из навязанной Михоэлсу роли» Главного еврея Советского Союза».

В мае 1942 года Михоэлса неожиданно вызвали в Москву. Поселили его в гостинице. Майя Левидова, которая заходила туда

к нему, рассказывала, что народу в номере было видимо — невидимо, вид у папы был усталый, так что поговорить им даже не удалось — она приходила попросить походатайствовать за своего репрессированного отца — но разговоры, которые велись, ее успокаивали. «Казалось, что раз Михоэлс здесь, то все будет в порядке».

Насколько мне известно, именно тогда его пригласил председатель Совинформбюро Лозовский и сообщил о решении создать Еврейский Антифашистский комитет во главе с Михоэлсом. В письме из Москвы он написал мне:«… Работы у меня безумно много. И люди съедают меня без остатка — целиком. Их оказывается всюду много, и все имеют ко мне претензии и дела. Думал — отдохну, а получилось наоборот. Устал еще больше. И так будет до бесконечности.

Был в театре тоже. Забыл об этом написать Асеньке. Побывал на сцене. Не верилось, что в этой мрачной пустыне, в этой зияющей, покинутой всеми дыре, было когда-то светло, существовала жизнь…»

О создании Комитета — ни слова. Как это характерно для безумных требований того безумного времени — из всего делать государственную тайну. И Комитет уже создан. И открытый митинг уже состоялся. Но в письме запрещено о чем бы то ни было упоминать, чтобы не пронюхал» вездесущий враг». Как известно, шпионы и диверсанты встречались советскому человеку буквально на каждом шагу.

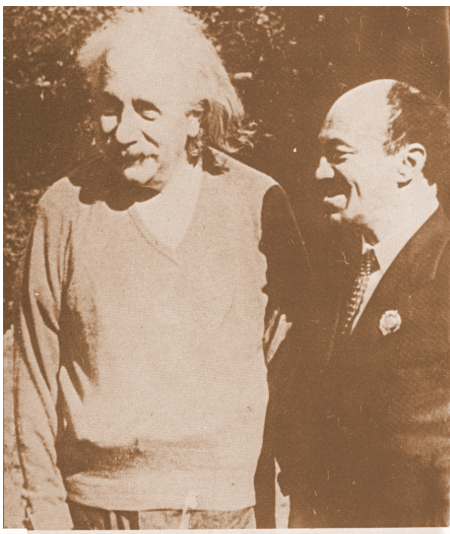
Папа вернулся в Ташкент в конце мая или начале июня 1942 года и оповестил нас о своем прибытии, просунув голову в дверное окошко со словами: «Ну, что я вам говорил? Нет, я не Байрон! Я другой!»

По обыкновению, ни о каких серьезных вещах не говорилось, рассказывались какие-то пустяки и глупости, затем была вызвана кляча и отец» поспешил» на ней в театр.

Спустя пару дней он сообщил, что» по всей вероятности, надо будет поехать на пару месяцев в Америку».

Поездка состоялась лишь через год. За это время отец еще раз побывал в Москве, сделал постановки в Узбекском театре оперы и балета, и, конечно, играл в спектаклях» Лир» и»Тевье» при жаре выше сорока градусов.

ОТ'ЕЗД В АМЕРИКУ



Альберт Эйнштейн Америка 1943

Встреча с Великими русскими князьями. Америка 1943 г. (повреждена при пожаре, печатается впервые).

Когда пришло время уезжать, папа впал в мрак. Да и у актеров настроение было мрачным — в отличие от нас, они никогда не разлучались на длительное время со своим пастырем. И несмотря на вечные претензии и обиды, без него они чувствовали себя покинутыми и осиротевшими.

Отец шел в театр с тяжелым сердцем. В тот вечер в Госете давали» Заколдованный портной». На сцену выводили живую козу. При виде животного, мирно жевавшего травку во дворе театра перед началом спектакля, у отца моментально созрел план, как избежать драматических прощаний и дамских слез, которых он, естественно, до смерти боялся. Он отвязал козу и появился перед актерами словно Эсмеральда, ведя на веревочке растерянное животное. Его появление вызвало всеобщее веселье, атмосфера разрядилась и прощание прошло безболезненно.

В конце апреля мы поехали провожать его на аэродром. По дороге обнаружилось какое-то повреждение в машине, все вылезли и отец с шофером довольно долго толкали ее.

Наконец добрались до места, которое носило громкое название — аэродром.

На самом деле это было огромное поле, поросшее цветами и травой, на котором стоял один — единственный самолет. По дороге от машины к полю мы месили ногами грязь (в это время

года в Ташкенте много дождей), пока наконец не добрались до военно — десантного самолета, который, за неимением пассажирского, выслали за Михоэлсом. Все это — и поле, и аэродром, и самолет, и свинцовое нависшее небо, — выглядело каким-то неправдоподобным и бутафорским. Попытались пошутить на эту тему, чтобы облегчить расставание.

И это тоже типичная черта нашей семьи — сколько бы раз в год мы не расставались, нам казалось, что это навсегда, и от этого и у нас и у папы делалось тяжело на душе.

Возможно тень того будущего, последнего рокового расстояния, постоянно висела над нами? Кто это писал, что каждому большому событию предшествует его тень?

С отъездом отца пропало очарование ташкентской жизни. Началась полоса тревог и ожиданий, сопровождавшая нас все дальнейшие годы.

Встретили мы папу уже в Москве.

После повреждения ноги. Америка 1943 г.

СНОВА В МОСКВЕ

Десятого декабря с самого утра у нас и у Аси трезвонил телефон. Звонили из Совинформбюро. Сведения поступали самые разные — «самолет прилетает в десять утра, к часу будет дома», «прилетает в двенадцать часов, будет дома к трем» и т.д. Ни время прилета, ни с какого аэродрома никто точно не знал. Часов в шесть вечера, когда мы в тысячный раз ставили кофе, и отвечали по телефону: «нет, еще не приехал», раздался стук во входную дверь, которого мы не расслышали. Отворили соседи, а мы, выскочив из Асиной комнаты, услышали папин голос: «Осторожно, мыши!». Он стоял посреди коридора с клеткой в руках. Мышей он привез, как оказалось, Асе для экспериментов в ее лабораторией всю дорогу их кормил и не выпускал клетку из рук. Мы попытались было сохранить в тайне приезд отца хотя бы до завтра, но, разумеется, ничего из этого не вышло.

Через полчаса комната была набита людьми. Все говорили одновременно, дым стоял коромыслом и сильно пахло кофе. Папа усталый и похудевший, не успевал отвечать на вопросы. Сейчас, в самый разгар войны, своими глазами увидеть человека, только что приехавшего из мирной и заманчивой Америки, было для советского человека столь же невероятно, как повстречать пришельцев из других Галактик.

Слово» заграница» всегда имело особую притягательную силу для русских, а в те годы съездить» за границу» удавалось лишь немногим счастливчикам, и за это приходилось впоследствии платить дорогой ценой.

Несмотря на то, что комендантский час еще не был отменен, и с наступлением темноты ходить по улицам без специальных пропусков строго воспрещалось, народ валил к нам ночь напролет. Каждую минуту трещал телефон, раздавался звонок в дверь, и гость, добравшись по затемненной Москве до нашего дома, уже сидел до самого утра.

С приездом отца снова воцарилась праздничная, суматошная атмосфера, такая привычная для нашего дома. Несмотря на голод, холод, усталость, что бы ни происходило, все окрашивалось особым, свойственным только ему номером. Даже такая малоприятная вещь как ремонт, превращалась вдруг в занимательное путешествие. Помню такой случай: незадолго до отъезда отца в Минск, было решено отремонтировать нижнюю комнату, где располагалась большая часть нашей библиотеки. Снять книги с полок высотой в четыре метра было делом нелегким. Как-то, придя поздно домой, папа заявил: «Ребятки,

сегодня будем работать всю ночь». Мы принялись за работу. Часа через два, в комнате раздался пронзительный милицейский свисток — от неожиданности я уронила пачку книг — папа стоял посреди комнаты и смотрел на часы.

— Мы едем из Ленинграда в Москву, — пояснил он невозмутимо. — Сейчас остановка, бежим за кипятком, только быстро, поезд отходит через двадцать минут.

Помчались на кухню, вскипятили кофе, который отхлебывали из железных кружек по папиному распоряжению, «чтобы обжигаться как в поезде». Затем, снова раздался свисток, и мы, обгоняя друг друга, бросились обратно в комнату, чтобы» не опоздать на поезд».

— Через три дня поедем обратно, — пообещал отец.

Так, с» остановками», мы проработали всю ночь, разбирая книги. Благо, ремонтировали театральные рабочие, а то мы бы» вернулись» не раньше, чем через три месяца. Так, самые будничные дела превращались в забавные игры, которые мы с сестрой помним по сей день. Будней не было, но не было и праздников в это трудное во всех отношениях время. Праздником было папино возвращение из Америки.

Официально принято считать, что поездка Михоэлса и Фефера состоялась по приглашению Альберта Эйнштейна, как Председателя Всемирного Еврейского Конгресса. На самом деле, приглашение не имело бы никакого значения, если бы у Советского Союза не возникла необходимость в помощи мирового еврейства.

В один из первых дней пребывания в Америке, они посетили великого физика. Эйнштейн с большим интересом слушал рассказы о жизни советских евреев и о героизме, проявленном ими на войне. Однако, в какой-то момент он, все-таки, задал сакраментальный вопрос, которого отец все время ждал: «А скажите, господин Михоэлс, как у вас обстоит дело с антисемитизмом? Ведь антисемитизм — это тень еврейства». Папа был поражен четкостью и верностью формулировки, но об этом» крамольном» эпизоде он рассказал, улучив момент, когда никого из посторонних не было. В основном же его рассказы мало чем отличались от официальных отчетов.

Только выехав из Советского Союза мы узнали некоторые подробности его встреч, и тогда стало понятно, в какой сложной и драматической обстановке протекала эта поездка.

Об одном эпизоде я прочитала в воспоминаниях его друга Штейнберга, с которым он встретился после двадцатилетнего перерыва. Вот как описывает Штейнберг эту встречу в своих воспоминаниях:

«Михоэлс приехал с Фефером в ноябре 1943 года из Америки в Англию в качестве посланника русских евреев…

В их честь был организован почетный Комитет, который включал — кого он только не включал? — от жены Черчилля до деятелей рабочих комитетов Уитмена. Британская секция Всемирного Еврейского Конгресса организовала этот вечер для почетных гостей из Москвы. За ужином председательствовала леди Рединг, невестка первого маркиза Рединга. На другом конце стола сидел левый социалист, член Британского Парламента Сидней Зильберман. Здесь присутствовал и брат леди Рединг — второй лорд Мельчет. Меня попросили занять место возле Михоэлса, так как было известно, что мы друзья детства.

После трапезы началась дискуссия — беседа.

Михоэлс говорил на своем великолепном идише. Леди Рединг и ее брат пытались его понять с помощью их слабого немецкого, а я переводил.

На каждый вопрос, который ему задавали о положении евреев в Советской России, Михоэлс отвечал авторитетно, точно опытный министр на пресс — конференции. За столом ощущалось особое уважение к его личности. Моя соседка слева удивленно прошептала: «как великолепно он играет свою роль…»

И тут госпожа Ривка Зив неожиданно спросила: «Скажите, профессор, вам известно, как мы все здесь интересуемся будущим Эрец — Исраэль. Может быть, вы могли бы нам здесь рассказать об отношении вашего правительства к этому вопросу?».

Михоэлс достаточно понимал английский, чтобы понять суть вопроса. Однако, он попросил меня перевести вопрос дословно. Мой умница из города» на берегу реки Двина» хотел, по всей вероятности, выиграть время.

Затем он слегка отодвинул стул, как бы собираясь встать из-за стола, давая тем самым понять, что речь идет не о рядовом ответе на рядовой вопрос. Понятно было, что он собирается провозгласить продуманную серьезную» декларацию».

Он втянул переднюю губу, прищурил оба глаза, улыбнулся и начал очень медленно: «Вопрос очень важный. И меня радует, что он здесь поставлен. Вы не думайте, пожалуйста, что он интересует только вас. И у нас он вызывает живой интерес. Но решение его, я полагаю, зависит гораздо больше от вашего правительства, нежели от нашего. Следовательно, я мог бы ответить вопросом на вопрос: «А какова позиция вашего правительства в отношении будущего Эрец — Исраэль?«Но я этого не сделаю. Ибо я знаю, что вы не в состоянии дать мне ответ на этот вопрос. Война еще далеко не окончена. Судьбы народов висят в воздухе. В этой ситуации наше правительство не

заинтересовано портить хорошие отношения с Англией. А ведь, как вам хорошо известно, проблема Эрец — Исраэль является острой как раз для английского, а не для советского правительства.

Я говорю все это от своего собственного имени… Я не уполномочен говорить от имени СССР. Это вне всякого сомнения наш общий интерес, интерес, касающийся еврейских масс. К этому могу прибавить лишь одно — можно быть уверенным, что если Англия решит создать в Эрец — Исраэль Еврейскую республику, с советской стороны, наверняка, никаких препятствий не будет».

Закончил и опять придвинулся к столу. Стало тихо, как после большого монолога в классической трагедии.

Никто не понимал, что это — театр ли, искусная пропаганда, политическая речь, или в этом прозвучала сама трагическая действительность?

Солсмон Михоэлс был больше чем трагический актер. С нами за столом сидела глубоко трагическая личность».

Михоэлс бесспорно обладал талантом дипломата. Борьба евреев на советских фронтах и в партизанских отрядах давала ему право с уверенностью выступать перед этими беззаботными людьми, собравшимися у стола. С другой стороны, самим фактом своей поездки, он был поставлен в тяжелое и двойственное положение, и не раз возникали сложные и провокационные ситуации, из которых нужно было выходить. Он с честью выполнил свою историческую миссию. Несмотря на всю противоречивость положения, он придерживался четкой и недвусмысленной позиции во всем, что касалось евреев и их будущего, и это несомненно сыграло свою роль, когда для Михоэлса наступил час расплаты.

Однако, всего этого отец нам так и не рассказал, ибо постоянно ощущал на себе» бдительное око». Мы даже познакомились с одним из его» телохранителей», который, как это ни смешно, носил фамилию Оков.

Только здесь, в Израиле, мы, например, узнали от маминого племянника, ныне крупного израильского дипломата А. И., что Михоэлс, встретившись с ним в гостинице в день их отъезда в СССР, улучил момент, когда они оказались наедине и принялся горячо уговаривать его перебраться в Палестину. Но и об этой встрече отец предпочел умолчать, ибо прекрасно понимал, что для нас безопаснее не знать о» родственниках за границей».

Зато его впечатления о театре в Америке были чрезвычайно обстоятельные, интересные и неожиданные. Ведь нам, жившим за» стальной завесой», казалось, что там, за океаном, при их

свободе, развитой технике и всеобщем изобилии, театр должен воплотить все лучшее, что до сих пор знала сцена. Да простят нам нашу глупость и наивность, ведь мы и в самом деле все дурное приписывали тому строю, при котором жили. Да и как могло быть иначе? Как могли мы, из своей наглухо запертой клетки, не идеализировать абсолютно недоступный и потому такой розовый мир? Однако, по рассказам отца и по сохранившимся записям оказывалось, что все далеко не так прекрасно и гладко, как нам хотелось бы верить.

Вот как описывает он свои впечатления об американском театре.

«… И вот вы попадаете в Америку, во Флориду. Субтропики, курорт, огромный город Майами. А театра нет. Зато когда вы попадаете в Вашингтон, то обнаруживаете замечательное здание театра. Но труппы нет и тут. Изредка только из Нью — Йорка приезжают гастролирующие труппы.

Можно даже сказать, что отсутствие театров — это характерная подробность, с которой мы сталкивались на протяжении почти всего пути (…). Только на Бродвее в Нью — Йорке действительно огромное количество театров. Но действуют там следующие законы: постановка должна обойтись как можно дешевле, ведь никогда неизвестно, принесет ли спектакль прибыль. А потому, как правило, жалкое декоративное оформление.

(…) В каждом спектакле есть своя» звезда», так как постоянно действующих трупп нет. Кончили ставить данный спектакль, и труппа распалась, так что там театр не может накапливать свои традиции, не может иметь свое, ему одному свойственное лицо».

В справедливость его наблюдений мы поверили только очутившись» за границей» через тридцать лет после того, как покинул ее отец.

До поездки в Америку Михоэлс покидал СССР лишь тогда, когда совершал с театром турне по странам Европы.

За зти годы многое изменилось. Как на Западе, так и в Советском Союзе. Изобретены совершеннейшие средства массового уничтожения, множество людей отправились на тот свет по дороге в космос, первый человек ступил на Луну, а в театре все так же» постановка должна обойтись как можно дешевле… театр не может иметь собственное, ему одному свойственное лицо».

Как известно, театральная Россия переживала в двадцатые годы такой расцвет, какого не знала история театра. Режиссеры — Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Грановский, Таиров — создавали новые, отличные друг от друга спектакли, используя

все те возможности, которые им давала поначалу советская власть.

Михаил Чехов писал в своих воспоминаниях о Мейерхольде: «Мейерхольд знал театральную Европу того времени. Ему было ясно, что творить так, как он хотел, как повелевал ему его гений, он не мог нигде, кроме России».

Знал это и Михоэлс. Знал, как актер — мыслитель, актер-философ, актер — автор, для которого его образ, его герой являлся средством выражения его раздумий, его этического и гуманистического кредо.

В те годы антисемитизм в России еще не ощущался. На местах он, возможно, потихонечку тлел, но не подогреваемый» сверху», никак себя не проявлял. Михоэлс, как и большая часть интеллигенции того времени, считал что с этим покончено навсегда. Тридцатые и сороковые годы доказали, как жестоко он ошибался.

Утром, после ночной сутолоки, когда отец торжественно готовился к первой, после возвращения встрече с труппой, вытряхивая из чемоданов подарки, я вдруг заметила, что он слегка прихрамывает на правую ногу.

—Что это? Что случилось?

—Это целая история, потом расскажу, — отмахнулся отец, и мы отправились в театр.

Шел конец сорок третьего года. Во время войны и эвакуации люди продавали или обменивали на хлеб имеющееся у них добро. Большинство вернулись в обносках. Представляю, как больно было отцу увидеть своих старательно принарядившихся актеров. Не знаю, кто был больше взволнован, актеры или Михоэлс, для которого после всего увиденного и услышанного встреча со своей паствой осмысливалась совершенно по — иному.

После бурных оваций, объятий и слез воцарилась тишина, и отец, медленно закурив, с улыбкой произнес: «Ну вот я и дома». Затем началась раздача подарков. По — моему, папа не забыл никого, включая рабочих сцены и» ди гутэ Гутэ», которой он привез ортопедические ботинки 41 размера. Она потом рассказывала, что проносила их в лагере ни от кого не скрывая, что привез их ей» сам Михоэлс»(за» контрреволюционную» связь с которым она и сидела). Раздача подарков сопровождалась бесконечными поцелуями, невообразимым шумом, вопросами: «А Чаплина видели?», «С Шагалом встречались?», «Как выглядит Эйнштейн?»

— Вот управимся с этим важным делом, — отвечал отец, указывая на еще не розданные подарки, — и тогда я буду рассказывать. Времени впереди у нас достаточно. Ведь насколько

я понимаю, никто из вас в ближайшее время никуда не собирается.

Наконец кто-то из актеров обратил внимание, что Михоэлс прихрамывает.

— Что-нибудь серьезное, Соломон Михайлович?

— Не то чтобы очень серьезно, но пришлось некоторое время походить на костылях и покататься в кресле на колесиках.

И тут мы впервые услышали, что произошло.

На одном из митингов, сейчас уже не помню точно где, кажется в Чикаго, где присутствовало больше пятидесяти тысяч человек, Михоэлс рассказывал о фашистских злодеяниях (тогда это еще мало кому было известно, а американские евреи пребывали вообще в состоянии полного неведения).

Стояла напряженная тишина, лишь время от времени мелькали носовые платки и раздавались всхлипывания. На заключительных словах: «Евреи! Как можете вы быть равнодушны, когда ваших братьев уничтожают, и в любой момент каждому из вас может грозить та же участь?!» — среди публики поднялось невообразимое волнение и часть хлынула на деревянную трибуну.

Тысячи людей обнимали его, пожимали руки, и он вдруг почувствовал, что трибуна под ним рушится, и он летит вниз» одной ногой». В первое мгновение он даже не почувствовал боли, только казалось что» пятка повисла в воздухе».

После первых минут паники вызвали» Скорую помощь», и Михоэлс оказался в госпитале, где провел довольно много времени. Весь остальной путь по Америке он проделал на костылях. Оказалось, что у него разрыв сухожилия.

Уже здесь, в Израиле, Мейер Вайсгаль впервые рассказал нам, как Михоэлс встретился во время своего пребывания в больнице с Хаимом Вейцманом, большим другом Вайсгаля. Однажды, когда Михоэлс остался один, так как Фефер отправился на какое-то выступление (даже в госпитале его не оставляли), Вайсгаль и Вейцман приехали за Михоэлсом и, заплатив дежурной, «выкрали» его на целую ночь. В начале вечера, как говорит Вайсгаль, отец был очень напряжен, мало говорил, видимо опасаясь, что его исчезновение может быть обнаружено — и что тогда? — но, постепенно, как-то отошел, успокоился, и у них состоялся весьма знаменательный разговор. Больше всего поразила Вайсгаля внезапная откровенность, с которой заговорил Михоэлс на самые» крамольные» темы. Хотя, как известно, в тот период антисемитизм в России, если не считать отдельных локальных вспышек, еще не стал частью государственной политики, отец смотрел на вещи крайне мрачно. Он сказал тогда: «У еврейской культуры в России нет будущего. Сейчас нелегко, но

будет еще хуже. Мне много известно, а еще больше я предвижу».

Его пророчества не замедлили исполниться в скором будущем.

Много говорили и о Палестине. Михоэлс с большим интересом расспрашивал, даже проявил неожиданную осведомленность в различных конкретных вопросах, Вайсгаль и Хаим Вейцман рассказывали.

Наутро» похищенный» был доставлен обратно в больницу.

Вполне понятно, что и об этом эпизоде отец умолчал. Зато он рассказал, как пришли навестить его в госпиталь несколько русских князей.

В конце декабря сорок третьего года состоялось открытие первого после эвакуации сезона, где отец сыграл в последний раз Тевье — молочника. А через месяц он сыграл» Короля Лира», после чего объявил, что больше играть пока не будет. Его беспокоила поврежденная нога.

АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ

Деятельности Антифашистского комитета посвящена масса исследований, но все они построены скорее на догадках, нежели на конкретном материале. Это вполне понятно — ведь из всего состава Президиума почти никто не уцелел, а те, кто по случайности выжил, получили достаточную травму, чтобы не распространяться особенно на эту тему. Архивы же, после ликвидации Комитета, были переправлены на Лубянку, где покоятся, быть может, и по сей день, а возможно, и уничтожены» за ненадобностью», ибо по ним уже не состряпать» новое дело». Хотя, как знать?

Среди единиц, уцелевших от жестоких расправ и смертных приговоров, была Лина Штерн — микробиолог, открывшая» советский пенициллин», который спас жизнь миллионам солдат во время войны.

Ее оставили в живых, и после процесса перевели в» шабашку», где она должна была продолжать трудиться» на благо Родины».

После реабилитации ее посетила вдова Переца Маркиша, и ей Лина Штерн рассказала, что в последний день процесса над писателями и актерами (суд, разумеется, велся при закрытых дверях). Маркиш произнес потрясшую ее обвинительную речь в против сотрудников КГБ, судей и прокуроров. Назавтра, двенадцатого августа пятьдесят второго года, двадцать шесть писателей, актеров, поэтов, деятелей Антифашистского комитета, в том числе и Маркиш, были расстреляны.

Никаких сведений о работе Комитета, к сожалению, выяснить у нее не удалось. Просто не повернулся язык мучить вопросами усталую, старую, травмированную женщину. А больше узнать было не у кого.

Лишь спустя много лет я узнала, что существует версия о том, что поднимался в Комитете вопрос о создании в Крыму, где раньше, до войны находилось несколько еврейских колхозов, Еврейской Автономной республики вместо Биробиджана, который находился на Дальнем Востоке. Но никакого документального подтверждения эта версия, по — видимому, не имеет.

Отец о работе Комитета вообще не рассказывал. Я знала, что была создана специальная комиссия по розыску без вести пропавших, что время от времени появлялись дома партизаны и рассказывали о борьбе еврейских партизанских отрядов с фашистами. Иногда папа приносил домой письма с самыми невероятными просьбами, написанные языком героев Шолом — Алейхема, причем на конверте значился адрес: «Москва,

Народному артисту Михоэлсу». И как ни странно, они находили адресата.

В Антифашистский Комитет поступали сообщения о лагерях смерти. Было создано Информационное бюро, куда стекались толпы, чтобы навести справки о своих близких. Стали появляться первые, чудом уцелевшие, беженцы. Некоторые оставались у нас на ночь. Папа приводил этих молчаливых, изможденных юношей и девушек. Мы их кормили, укладывали спать. Через пару дней они исчезали. Одну из этих беженок мы встретили в Израиле и она рассказала, со слезами на глазах, что ей и еще многим папа помог перебраться сюда.

Приютить людей без прописки, да еще в военное время, да еще в Москве, было делом опасным. Милиция часто проводила ночные облавы, и наказанию подвергались обе стороны, а по строгим законам военного времени срок наказания мог быть весьма внушительным.

В одну из таких облав (в ту ночь у нас, по чистой случайности, посторонних не было) вдруг выяснилось, что у папы нет московской прописки и, следовательно, он проживает в Москве незаконно. Товарищи из милиции, которым было известно имя Михоэлса, были весьма смущены и извинялись как могли, что все, мол, образуется, но он забыл прописаться в Москве после возвращения из Америки, а паспорт-то у него ташкентский, а с ташкентской пропиской жить в Москве воспрещается, и так далее… Как мы поняли из всего этого бреда про прописку, отец, который люто ненавидел всякую бюрократию, совершенно забыл, что уехал в Америку из Ташкента, а не из Москвы, и вернувшись, забыл поменять паспорт.

— Ну как же так, Соломон Михайлович, такой сознательный человек, а законов не знаете, — задушевно журили его милиционеры.

Пришлось заняться этим неприятным делом. «Ведь я что-то делал с пропиской перед отъездом», — беспомощно оправдывался он. И действительно, перед отъездом в Ташкент отец, по настоянию Аси, пошел выписывать из квартиры нашу домработницу, правда ключи он ей, все-таки, оставил» чтоб не думала, что мы ей не доверяем». Папина щепетильность обошлась нам довольно дорого — вернувшись из эвакуации, мы нашли квартиру совершенно опустошенной.

Приблизительно в середине февраля 1944 года в Москву приехала делегация ведущих узбекских актеров. Мы все были приглашены на торжественный обед в гостиницу» Москва». Не помню, что помешало нам пойти, но в итоге папа отправился один. Вечером этого же дня у него была назначена встреча с

Молотовым, на которой ему предстояло докладывать об американской поездке.

Многие годы бытовала в России легенда о том, как Сталин принял Михоэлса, какие слова говорил ему, получая из его рук шубу, сделанную американскими меховщиками. Да и здесь я прочла множество измышлений, с подробнейшим описанием этих встреч, и рассказов о близкой дружбе Михоэлса с Кагановичем, да и с самим Вождем всех народов.

Все это чистый вымысел. Отец никогда со Сталиным не встречался, не имел с ним ни одной беседы, да и не стремился к подобному сближению, последовательно придерживаясь одного из своих любимых библейских изречений: «ни мне меда твоего, ни укуса твоего».

Итак, в час дня Михоэлс отправился на торжественный обед с узбеками и основательно там задержался. Часам к шести он вернулся явно навеселе. Говорил с нами только по — узбекски, зачем-то погасил свет, устроился на полу посреди комнаты и, раскачиваясь как старый узбек, нараспев причитал, что пора отправляться» в орган к Молотому». (Журнал или» орган печати» под названием» Война и рабочий класс» курировался Молотовым.)

Было совершенно очевидно, что отец слегка выпил, и что в таком виде отпускать его» в орган» просто опасно. Пока мы соображали, как с ним быть, он вдохновенно импровизировал очередную новеллу о нашей соседке — безобидной старой деве, которая» сегодня ночью кралась с ножом по коридору». В общем развлекал нас, как мог. Внезапно он встал с пола, зажег свет, провел ладонью по лицу, как бы снимая какую-то невидимую пелену, и произнес совершенно трезвым будничным голосом: «Ну, я пошел. Буду часа через два».

Привыкшие к **папиным** играм, мы ничуть не удивились этой перемене. Однако, когда, надев шубу и взяв палку, он вышел **из** дому, я быстро оделась и последовала за ним на некотором расстоянии. Редакция журнала, где должна была состояться встреча, помещалась недалеко от нас, в маленьком переулочке на Арбатской площади. Еще не сняли затемнение, и после захода солнца город погружался во тьму. Только луна освещала блестящие, раскатанные детьми островки луж.

Я шла в отдалении, боясь потерять из виду отца, который шел, слегка прихрамывая на правую ногу, засунув руки глубоко в карманы пальто. И в это мгновение — в который уже раз! — я так остро почувствовала его одиночество, что у меня защемило сердце.

Убедившись, что он благополучно дошел, я вернулась домой,

но это ощущение какого-то его бесконечного одиночества так и не оставляло меня.

Пришел он поздно, о подробностях встречи с Молотовым не рассказывал, но, кажется, именно тогда состоялась передача шубы для Сталина.

Отрывочные воспоминания порой приводят к неожиданным открытиям.

Девятнадцатого апреля отец зачем-то облачился в халат и заявил, что из дому сегодня не выйдет, а если позвонит некто Чобруцкий — его к телефону не звать. На вопрос, кто такой Чобруцкий, он ответил, что это мелкий служка из синагоги, и вскользь добавил: «В сапогах и с погонами».

Ответ пояснений не требовал.

В этот день, девятнадцатого апреля сорок шестого года, в Московской синагоге был объявлен молебен в память евреев, погибших в немецких лагерях и гетто. Отец в синагогу не пошел, но не выходил на улицу, не брился, и, насколько я помню, пил воду и курил.

Больше мы от него никогда об этом Чобруцком не слыхали.

И вот, спустя тридцать лет, уже здесь, в Израиле, я получила письмо от одного бывшего партизана по фамилии Лидовский. К письму была приложена фотокопия членского билета Союза журналистов СССР, подписанная рукой Михоэлса. В письме, а затем при встрече, Лидовский рассказал мне о своих встречах с отцом.

Лидовский был членом сионистской организации в Белоруссии, и во время войны партизанил в белорусских лесах. Летом сорок четвертого года ему удалось вывезти на освобожденную территорию группу еврейских сирот. Конечной целью его было переправить этих детей в Палестину, но пока что их надо было хотя бы одеть и подкормить.

Никакой связи с Москвой у Лидовского не было. Единственное, что он знал, было имя Михоэлса, и что во время войны он стал председателем Еврейского антифашистского комитета. Та сердечность и простота, с которой Михоэлс встретил его, совершенно незнакомого ему человека, его поразила. Лидовский рассказывал Михоэлсу о многочисленных проявлениях антисемитизма, с которым ему пришлось столкнуться при переправке этих несчастных, чудом спасшихся от Гитлера, осиротевших детей на освобожденную от немцев землю Белоруссии. Михоэлс слушал его с большим волнением и только повторял: «Говорите, говорите. У вас есть передо мной большое преимущество — вы можете говорить, я же могу только слушать».

Наконец речь зашла о материальной помощи детям. Отец, на

вопрос Лидовского, где и сколько денег он может раздобыть, ответил: «Мы — организация чисто представительная (Еврейский Антифашистский комитет. — Н. М.). Возможностей у нас нет никаких, а денег и подавно. Вы должны пойти в синагогу и обратиться к некоему Чобруцкому. Там вы могли бы получить то, что вам надо, так как генералы — евреи пожертвовали большие деньги синагоге».

Тут-то я и вспомнила, как и когда впервые услышала от папы это имя. Оказалось, что и Лидовского папа предупредил, что с Чобруцким надо поосторожнее, но тот в самом деле помог раздобыть деньги для детей.

Чтобы облегчить Лидовскому пребывание в Москве и дать официальное обоснование его просьбам, Михоэлс оформил его как журналиста при газете» Эйникайт», сменившей во время войны существовавшую до тех пор » Эмес».

Разумеется, отец прекрасно сознавал, какой опасности он себя подвергает, подписывая своим именем поддельный документ и ряд рекомендательных писем человеку, с которым он был едва знаком. Но в том-то и заключалось мужество тех лет: не в бесстрашии, а в преодолении страха.

В такой и подобной помощи и заключалась, по — видимому, деятельность отца.

В чем состояла деятельность Комитета в целом, кроме того, что я уже написала, и» временной необходимости в контактах с мировым еврейством», я затрудняюсь сказать и утверждаю, что сейчас уже этого никто в точности не знает.

Война подходила к концу. 29 апреля на улице Горького в помещении ВТО состоялась первая за четыре года Шекспировская конференция. Практика подобных конференций с широким обсуждением уже сделанных постановок и выступлениями крупнейших режиссеров, которые делились своими замыслами и планами, помогла сохранить хоть какие-то крупицы такого недолговечного искусства, как театр. Благодаря одной из театральных конференций, сохранился, например, план постановки Мейерхольда» Пиковая дама», который он специально подготовил для встречи со своими коллегами. Не знаю, существовала ли подобная традиция в театрах других стран, это бы безусловно очень обогатило историю театра. Разумеется, большинство участников этих конференций были уничтожены. Все это были люди огромного дарования, которые в условиях нашей» свободы, равенства и братства» так или иначе были обречены на страдание и пусть не физическую, но творческую гибель. Уж такое было время.

Зал ВТО был полон. Какое это странное и забытое чувство

сидеть и слушать мирные слова о бессмертии Шекспира! Ведь четыре года с утра до вечера, со всех трибун, по радио и из громкоговорителей мы слышали только: «Все для фронта, все для победы!«Подходили к концу бесконечные дни самой жестокой войны. Многие из присутствующих впервые встретились после фронта, эвакуации, длительной разлуки. Большинство собравшихся толпились в кулуарах, возбужденные событиями последних дней — вот — вот будет взят Берлин! Но стоило председательствующему объявить: «Слово имеет Михоэлс», как зал моментально наполнился.

В свое время в спектакле» Тевье — молочник» отец не сразу выходил на сцену, а сначала из-за кулис раздавался его голос, и каждый раз у меня сжималось сердце — а вдруг не узнают? а вдруг он выйдет под гробовое молчание публики? Но этого не случалось никогда. Звук его голоса вызывал неизменную бурю аплодисментов. Так было и сейчас. Отец закурил, ожидая пока зал умолкнет, и затем взволнованно произнес: «Только что по радио передали, что на улицах Берлина идут бои. Близится конец сумасбродного немца, поверившего в свое божественное происхождение. Человек победил сверхчеловека!»

Современники помнят, какое настроение царило в те дни в России. Измученные, изголодавшиеся, потерявшие своих близких люди были на пределе напряжения, и эти вступительные слова о долгожданном взятии Берлина вызвали вихрь рукоплесканий.

Через десять дней, в ночь на девятое мая было объявлено об окончании войны.

* * *

Выступления, заседания, поездки и отчеты, бесчисленные встречи поглощали массу времени и сил. Но, как и прежде, несмотря на загруженность и усталость, отец с Асей каждый вечер бывали куда-нибудь приглашены. Они имели специальные пропуска и могли спокойно разгуливать ночью, несмотря на затемнение и комендантский час. Тышлер вспоминает об одной из таких ночных встреч:

«Однажды во время войны, когда вся Москва была погружена в абсолютную темноту, я шел по улице Горького. Навстречу мне двигалась группа из трех человек. Фонарь, который они несли, был очень яркий и освещал большое пространство. Я уже приготовился показать документы, но когда приблизился, то увидел впереди шествующего Чечика, который освещал путь идущим за ним Михоэлсу и Асе. Оказывается, у Михоэлса испортился карманный фонарь, и он воспользовался фонарем со свечой из театрального реквизита. Меня тут же повернули обратно, и мы, как гамлетовские могильщики, двинулись дальше.

Кстати, фонарь был взят из» Короля Лира» и создавал атмосферу средневековья».

Мне же вспоминается один комический эпизод, связанный с ночными походами отца. Как-то, в самом конце войны, по радио объявили, что» советскими войсками взят город Бердичев» и по этому поводу объявляется приказ дать салют двенадцать залпов из ста двадцати орудий.

С того момента, как немцы стали отступать, Сталин дал приказ отмечать взятие каждого города торжественным салютом. Количество залпов строго определялось: Киев или Одесса — 24 залпа из 240 орудий, а города поменьше — 12 залпов из 120 орудий.

Бердичев был маленький провинциальный городишко, из бывшей черты оседлости. Услышав, что он освобожден, мы выбежали на улицу. Разумеется, Тверской бульвар был пуст. Мы трое — Нина, мой муж и я одни глядели на затемненное небо, озаряемое яркими вспышками салюта.

Неожиданно мы услышали громкие голоса и смех — кому-то тоже захотелось приветствовать город Бердичев. Мы двинулись навстречу голосам — и носом к носу столкнулись с папой, Асей и Чечиком. В этот момент где-то совсем рядом раздалось пьяное пение, и мой муж с папой нырнули в темноту, выяснить, кто там, и в случае необходимости защитить нас — в ту пору ночные выходы были небезопасны, так как темные пустынные улицы привлекали всякий сброд.

Вскоре до нас донесся весьма странный диалог. Пьяный, где-то совсем рядом, сипел благодушно: «да, что вы, граждане, я вам его задаром отдам». А голос отца явно увещевал: «Нет, нет, позвольте заплатить, я вам плачу сотню… мне эта вещь необходима…»

Наконец они подошли к нам, и при свете Чечикиного фонаря. мы увидели пьяного вдребезги матроса с каким-то жутким чайником в руках. Отец и мой муж, оба слегка сконфуженные, стали нас уверять, что» во — первых, это не чайник, а кофейник, и что в наше время купить такой кофейник — это редкостная удача».

Что и говорить, кофейников в ту пору, да и много позже, в продаже не водилось, но мы отнюдь не были убеждены (в отличие от мужчин), что приобретаем кофейник, тем более что наш новый друг вдруг замолк и, засунув руку в карман, начал медленно оттуда что-то извлекать. Видно отец заподозрил неладное, так как быстро отстранил нас, и в этот момент матрос резко выбросил руку вперед… В руке оказалась крышка!

Мы с трудом уговорили папу не приглашать благодетеля

домой, а тот в свою очередь с трудом согласился принять сотню, которую папа настойчиво пихал ему.

Закопченный, пропахший пивом и водкой, кофейник был отмыт и прослужил нам верой и правдой много лет.

После возвращения из Америки отец с Асей почти никогда не бывали вечерами дома. Всевозможные приглашения — частные и официальные — поступали на протяжении всех последних четырех лет его жизни. Но как бы поздно отец ни возвращался, он всегда звонил к нам наверх, сказать, что пришел, и эту привычку я у него унаследовала, что, между прочим, весьма усложняет жизнь.

Недаром еще Эля писала в своих письмах к брату: «Он человек, удивительно усложняющий все события». Насколько справедливо Элино суждение, мы убеждались неоднократно.

Девятого мая ночью, когда все радиостанции сообщили об окончании войны, мы, не помня себя от радости, бросились к папе вниз. Он же встретил нас словами: «Мало выиграть войну. Теперь надо будет выиграть мир, а это значительно сложнее», — чем слегка омрачил наше безоблачное и приподнятое настроение.

Насколько он оказался прав, мы убеждались на протяжении всей дальнейшей жизни.

* * *

Утверждение отца, что» он боится хромать на сцене», мне думается, было лишь предлогом. На самом деле ему неинтересно было возвращаться к давно сыгранным ролям, а на создание новых не было ни времени, ни условий.

Проблема репертуара, претензии и обиды актеров, что он мало уделяет им внимания, какие-то неполадки в бюджете театра, поток посетителей, который переливался с Кропоткинской (где помещался Антифашистский комитет) на Малую Бронную, в театр — все это назойливо и неотступно следовало за ним и лишало физической возможности работать. А это страшно угнетало и нервировало отца.

Я старалась взять на себя часть его нагрузки. Приходила в театр на несколько часов, принимала посетителей, записывала их просьбы и жалобы, и когда отец возвращался домой, мы порой до поздней ночи разбирались в этих бесконечных записях. Но и я сама была по горло занята тяжелым бытом послевоенных лет. В конце концов, после долгих раздумий и колебаний, я решила отправиться в Комитет по делам искусств и попросить, чтобы отцу официально назначили секретаря. Ответ естественно гласил — нет единицы. В самом деле, с моей стороны полной наивностью было требовать помощи человеку, который совершенно добровольно взвалил на себя столько обязанностей.

Сам взялся — пусть сам и разбирается. Михоэлс видел и понимал, что его имя и силы используются в определенных целях. «Но поздно что-либо менять», — сказал он мне незадолго до своего отъезда в Минск.

Михоэлс, как и большинство его современников, свою истинную оценку происходящего не поверял никому и предпочитал держать ее при себе.

Но война на первых порах отвлекла внимание от событий внутри страны и заставила сконцентрироваться на самом главном — на опасности, нависшей над всеми. А для Михоэлса это в первую очередь касалось евреев.

Как ни странно, но для многих военное время стало как бы своеобразным катарсисом. Страх, взаимное недоверие и подозрительность отступили на второй план, понятие патриотизма снова приобрело живой смысл и перестало быть пустым лозунгом.

Однако, несмотря на глубокую веру, что Советская армия несет на себе все тяготы войны, несмотря на абсолютно безотказное служение идее антифашизма, преступить какие-то внутренние преграды Михоэлс, видимо, не мог.

Все последние годы жизни его неоднократно приглашали в Комитет по делам искусств, или в кабинет директора театра, куда приходили» представители» партии и настоятельно предлагали ему вступить в ряды КПСС.

В нашей семье, как я уже говорила, не было принято обсуждать серьезные вопросы. На конкретные темы не говорилось вообще. Но про приглашение в партию он почему-то рассказал. Во всяком случае мне.

Он находил каждый раз миллион отговорок. Благодарил за доверие, но то отвечал, что еще не созрел, то не чувствует себя достойным, но» представители» не отступали. Как-то папа поднялся к нам мрачный и раздраженный. Долго молча барабанил пальцами по столу, а затем неожиданно произнес: «Придется в следующий раз придумывать что-нибудь новое. Не знаю уже, как откручиваться».

Но следующий раз не наступил. Он уехал в свою последнюю командировку, так ничего нового и не придумав.

Несмотря на внешние помехи, Михоэлс постоянно жил напряженной внутренней жизнью художника. В апреле сорок шестого года он выступил на очередной Шекспировской конференции с докладом» Несыгранные шекспировские роли».

Приведу несколько отрывков из этого доклада.

«Выходить на трибуну только для того, чтобы рассказать о работах, которые ты не сделал, о ролях, которые ты не сыграл —

затея, вероятно, довольно странная (…) Их довольно много, этих ролей. Пусть вам не покажется излишним самомнением то, что вы найдете в этом списке Гамлета, Шейлока и Ричарда Третьего. Не сочтите меня безумцем, если я скажу вам, что мне видится и еще одна очень трудная роль, причем отнюдь не раскрытая до сих пор — роль Фальстафа.

(…) Много лет назад я начал одну работу… Я обратился к ней именно потому, что она мне казалась и кажется до сих пор чрезвычайно современной… Я говорю о Ричарде.

Я бы сказал, что современность Шекспира измеряется его зрительным залом. Хотите вы этого или нет, зритель все равно сочетает все, что слышит с приходящими ему на ум ассоциациями. До войны, скажем, эти ассоциации могли не существовать, а сегодня они возникают (…)

Шекспир любит самый обыкновенный символ. Горб Ричарда — это символ. Мне казалось даже, что начинать Ричарда нужно с тени его.

Солнце бросает лучи и движение его тени напоминает ему о горбе. Поэтому он отстранен от людей. Но зато после, когда путем взломов и убийств, вопреки горбу и уродству, Ричард врывается на престол (так же с поджогами и взломами ворвался в историю Гитлер), — тогда Ричард становится настолько дерзким, что у гроба побеждает леди Анну. Он вызывает солнце на поединок (…)

Но в какую-то минуту наступает перелом, солнце всегда побеждает. И в эту минуту, пожалуй одну из наиболее интересных минут в роли Ричарда, Ричард пытается отделаться от своего горба (…)

Вот моя концепция Ричарда.

Я не хочу говорить больше только потому, что в работе мне боязно слишком многое выбалтывать — этим я лишаю себя стимула (…)

Еще я думаю о Шейлоке.

Шейлок — еврей. Он жадный — он потребовал кусок мяса. Да, он жадный Шейлок, да, он потребовал вырезать у Антонио фунт мяса. А что вырезали из жизни, из тела Шейлока? Дочь. Имя. Он был изгнан в гетто. По отношению к нему было все дозволено. А ему не было дозволено ничего.

Но и об этом мне не хотелось бы много говорить. Когда готовишь роль, нужно больше о ней молчать и меньше разговаривать…»

Я не случайно привела такой большой отрывок из его выступления.

Мне хотелось показать как интенсивно работала его мысль,

ибо все, о чем он говорил, было создано и сыграно лишь в его воображении. Но ни одному из этих образов не суждено было увидеть свет.

Сохранились кусочки записей этого выступления, и к ним его же рукой сделана приписка: «очень наивно, но верно». И дальше под чертой он добавляет: «До чего же плохо написано! Самое страшное из всех проявлений человеческой глупости — это глупость самолюбования».

Собственно говоря, я даже не знаю, сделаны ли эти записи после прочтения доклада или до этого? Во всяком случае и то, и другое дает возможность проникнуть в то самое сокровенное его» Я», которое было скрыто бесконечными проблемами повседневной жизни.

Как бы там ни было, кроме Антифашистского комитета, Михоэлс был занят и театром. Репертуар должен был, как обычно» отражать наши победы». И если ценой многомиллионных жертв победа над фашистами и была одержана, то во всех других областях похвастаться было, мягко выражаясь, нечем. И именно поэтому хвастались. Чтобы отвлечь внимание народа от явной лжи, издавали» постановления», где с завидным апломбом громились наука, литература, театр, музыка.

ФРЕЙЛЕХС

В этих условиях надо было работать, «откликаться», как это называлось тогда, на все события современной жизни. И Михоэлс» откликнулся» на победу. Он сам написал либретто пьесы, которую назвал» Фрейлехс». Мысль этого спектакля выражена тремя словами: «Еврейский народ бессмертен!» — «Ам Исраэль хай!«Но какими средствами выразить эту мысль, когда только что Сталиным провозглашен тост» за нашего старшего брата — великий русский народ», когда слово» еврей» уже начинает становиться опасным и неприличным?

В основу спектакля» Фрейлехс» он положил традиционный еврейский свадебный обряд. Сцена погружалась во мрак, и под звуки торжественно — траурной музыки на горизонте появлялась одинокая звезда. Одновременно, в противоположных концах сцены возникали семь горящих свечей, которые медленно приближаясь друг к другу, превращались в семисвечник — символ победы слабых над сильными, символ героизма еврейского народа.

Этот дерзкий прием, впрочем, как и вся идея спектакля, не остались без внимания и, несомненно, пополнили досье Михоэлса.

Неожиданно сквозь музыку прорывается возглас: «Гасите свечи! Задуйте грусть!»

Сцена заливается ярким солнечным светом и перед зрителями оказывается шесть молоденьких синагогальных служек, держащих свечи, которые задувает свадебный бадхен. Два бадхена заправляют свадьбой — карнавалом. Первый — воплощение духа народа. Второй — его плоти.

Зускин, игравший первого бадхена, обращался к залу, в тот период посещавшемуся только евреями, со словами сочувствия и утешения. Он сверкал, блистал, летал по сцене, вызывая жениха и невесту, родственников и гостей. Но в моменты, когда действие переключается, он застывает и облик его выражает горечь и боль…

Свадьба — канва, на которой вышиты судьбы целого поколения. Каждый из гостей в танце или песне рассказывает о пережитом. Вот боевой командир — он прибыл на свадьбу прямо с фронта; вот мать, потерявшая на войне своего единственного сына; а вот бывший николаевский солдат… Его танец отец задумал и исполнил сам, а затем по этому рисунку он был поставлен, как и все танцы в этом спектакле, замечательно талантливым балетмейстером Эмилем Мейем.

В казенных маршевых ритмах, в угловатых резких движениях передавалось ощущение рабства, унижения николаевского рекрута.

Наряду с этим, танец — пантомима» рождение скрипки» — рождение музыки, искусства, утверждение жизни.

Лирическому дуэту жениха и невесты вторит дуэт старенькой пары, трогательно и с юмором рассказывающей о прожитой жизни.

В этом по существу бессюжетном спектакле Михоэлс, как в каждой своей работе, показал на примере» мира малых судеб, микрокосма», как он сам говорил, «мир больших судеб, макрокосм». И ему это удалось.

Этим спектаклем, одновременно трагическим и жизнеутверждающим, который сверкнул как молния и осветил унылые будни советского театра того времени, фактически закончилась жизнь Госета.

Михоэлс не был рационалистом, но был мыслителем в искусстве. Как всякий большой художник, он был одержим одной идеей и находил ей образное выражение. Его идея, его тема — человечность, гуманизм. Однако, понятие это устарело. В России им, правда, пользуются до сих пор, но даже в самой его формулировке — «воинствующий гуманизм» — таится противоречащий самому понятию смысл.

Но именно с идеи гуманизма начинался двадцатый век. Поэтому для людей поколения отца она была органична. Несмотря на то, что весь дальнейший ход истории больше, чем когда-либо доказал полную ее несостоятельность, вернее нежизнеспособность, для Михоэлса идея гуманизма оставалась главной на протяжении всей жизни. В одной из традиционных бесед с молодежью в клубе ВТО он говорил: «Меня больше всего волнует тема: «Человек, поставленный лицом к лицу с миром, поведение этого человека, движимого страстью к познанию. Человек вглядывается в мир, в страстном желании познать и объяснить его. Страсть познания самая сильная, ибо даже любовь есть, собственно говоря, разновидность этой страсти познания. И когда ты видишь вопиющее нарушение элементарной справедливости, видишь страшные преступления, совершающиеся в мире, ты должен объяснить, познать, занять позицию в отношении происходящего вокруг. Вот почему трагический образ человека, вечно ищущего, мятежного, ошибающегося и приходящего в конце концов к тому, чтобы заплатить жизнью за кроху истины — тема, которая больше всего меня волнует».

Эту тему» человека ищущего, ошибающегося» он нашел в прекрасном драматургическом воплощении Д. Бергельсона»

Принц Реубени» по Максу Броду.

Работа над ним началась, фактически, в сорок четвертом году, после папиного возвращения из Америки, но спектакль, законченный лишь в конце сорок седьмого года, так и не увидел свет.

Ни одна постановка, даже» Лир', ' не заняла у отца столько времени. Объяснялось это той нечеловеческой нагрузкой, которую он, как я уже писала, взвалил тогда на свои плечи. Над» Реубени» он работал с огромным увлечением. Впервые после» Тевье» ему представилась возможность создать значительный и новый образ. Да и в режиссерском плане эта работа давала больше пищи для воображения, чем спектакли на современные темы. Несмотря на столь длительный период работы, мне не удалось побывать ни на одной репетиции. Но по рассказам тех, кому пришлось повидать репетиции» Реубени», это было» самое грандиозное из всего, что он создал, как актер и режиссер». Это говорил художник, оформитель спектакля Исаак Рабинович, да и не только он.

Когда папа уезжал в Минск, была уже намечена приблизительная дата премьеры, которую все ждали с нетерпением.

Каково же было мое удивление, когда в книге о Михоэлса» Статьи, беседы, речи» я прочла следующее: «Однако, тщательно изученная и талантливо разработанная Д. Бергельсоном тема, возбуждая некоторые современные иллюзии и выдвигая определенные аналогии, не могла, разумеется, принести с собой близкую современности современную программу. Ибо в прошлом нетерпимости одной веры могла противостоять только другая вера, одной религии — другая религия. Извлечь из сложнейшей коллизии, связанной с появлением в Португалии в шестнадцатом веке мессии — самозванца Реубени, идею, которая хотя бы косвенно совпала с идеями, воодушевлявшими советских людей в их борьбе против фашизма, не могли ни Д. Бергельсон, ни С. Михоэлс. Энергичные усилия преодолеть источаемые этой коллизией дух национализма, к успеху не привели. В конце концов Михоэлс, непримиримый атеист и последовательный интернационалист, от пьесы отказался»(!).

Собственно, можно было и не удивляться, ибо это та ложь, без которой не обходится ни один печатающийся автор. Но книга об отце выходила в шестидесятом году, в самый разгар» оттепели», когда многим, в том числе и мне казалось, что можно обойтись без лжи.

Возможно до автора статьи дошли тогда отклики о» порочной идее и формалистическом воплощении» Реубени» и он просто

решил» оправдать» Михоэлса. Но только Михоэлс в его оправдании не нуждался, как не нуждается в оправдании и идея гуманизма — не» воинствующего», разумеется.

Сейчас, восстанавливая в памяти те годы, я понимаю, что работа над» Реубени» была единственным светлым пятном в папиной жизни того последнего периода.

И хотя всегда, перед уходом на спектакль, он тяжело вздыхал, ворчал и кряхтел, что» терпеть не может играть», мы видели с какой радостью он отправлялся на эти, последние в его жизни, репетиции.

Спектакль» Принц Реубени» не увидел свет не потому что Михоэлс» от пьесы отказался», а потому что он становился все более неугодным хозяину и наступало время расплаты с ним.

Поездка в Америку, отчеты заседания, проблемы, связанные с работой театра, вечная неустроенность в быту (дома тогда начали течь трубы и пришлось переехать на пару недель в театр) — все это не могло не сказаться на его здоровье и, в конце концов, он заболел тяжелейшей формой фурункулеза.

Я редко видела папу болеющим» всерьез» в постели. Правда он, как всякий мужчина, относился очень серьезно к насморку, но даже сопя и чихая, предпочитал все же выскочить в театр, чем сидеть дома. Вообще долго находиться на одном месте ему было трудно. Исключением являлся только театр, откуда он мог не выходить сутками.

Почему ему не сиделось на месте? От неуемного темперамента или от внутренней неприкаянности? Или от того и другого?

Что я могу знать? Ведь я была девчонкой, которая с обожанием смотрела ему в рот, мало о чем задумываясь и мало что понимая. Помню, один приятель мне как-то посоветовал: «Веди дневник. Записывай все, что твой отец говорит, ведь потом пожалеешь, что ничего не запомнила, но потом уже будет поздно». Я страшно возмутилась. Что значит» потом» или» будет поздно»? Значит, я должна жить с мыслью, что когда-нибудь папы не станет? От этой мысли делалось так жутко, что хотелось умереть самой.

Как мало мы знаем наших родителей. Желая оградить нас от опасностей и разочарований, они слишком много от нас скрывают. Особенно в ту» светлую» эпоху, на которую пришлась моя молодость. А приятель наверно был прав. Насколько легче мне бы было сейчас по отдельным фразам, и пусть даже самым незначительным записям восстановить тогдашнюю атмосферу. Наши сегодняшние воспоминания, не подкрепленные жесткими фактами, таят в себе опасность — мы невольно освещаем

прошлое нашим сиюминутным видением. А видение это всегда приспосабливается к сегодняшнему дню, и даже нам самим, пережившим ту эпоху — иначе как бы мы ее пережили? — уже трудно, почти невозможно представить себе то перевернутое болезненное восприятие действительности, которое было для нас в то время нормой.

Отец пролежал в постели несколько недель. Наверное, чем сильнее организм, тем тяжелее он переносит болезнь. Мирон Семенович Вовси заключил, что папин фурункулез это следствие перенапряжения нервной системы. Интересно, что все мы во время войны одинаково недоедали, нервничали, и переутомлялись, но ни Ася, ни мой муж не болели фурункулезом, а мы с Ниной страдали от него все голодные годы. Папа оживленно рассуждал о том, что у нас наверно» одна группа крови» и даже вспомнил, что когда у Нины была корь, у него взяли кровь, чтобы сделать мне прививку. «Значит, мамина тебе не подходила, а моя подошла». Вовси очень смеялся его научным выводам.

Мучился папа ужасно. Когда боль на мгновение затихала, отец сейчас же принимался двигаться, отчего ему немедленно становилось хуже. Я спрашивала: «зачем тебе это нужно? Стало лучше — и слава Богу». Но он толь ко возмущался. «Как ты не понимаешь, что человек хочет все знать», — объяснение, вполне соответствовавшее его беспокойной и пытливой натуре.

Папа болел, Ася работала, Нина училась, я занималась своим и папиным домом. Карточная система и постоянное отсутствие денег весьма осложняли эту задачу и отнимали массу лишнего времени.

Чтобы нас немного разгрузить и не оставлять отца совсем одного, актеры из молодых решили установить внизу дежурство. Но это, конечно, вылилось в очередной абсурд, так характерный для нашего дома. Вместо помощи, они занимали Михоэлса своими проблемами (один из них принес даже целый чемодан афиш, разложил их на полу и принялся доказывать папе, что тот недостаточно его ценит).

В конце концов, возникла сложная для нас ситуация, при которой папа, естественно, взмолился, чтобы его избавили от этой» опеки», а мы мучались, так как считали свинством и неблагодарностью отказаться от их посещений.

Уладилось все неожиданно. Мирон Семенович Вовси заявил, что отец должен немедленно уехать в санаторий, а то он никогда не поправится.

Санаторий» закрытого типа», то есть для привилегированных, находился под Москвой в очень живописном месте. Однако отец,

равнодушный к природе, возмущался, что его послали на» лечебу», что теперь к нему обращаются» больной Михоэлс» и утверждал, что» для того, чтобы лечиться, надо иметь железное здоровье». Особенно не устраивали его так называемые» разгрузочные дни». Накануне он оповещал нас по телефону» приезжайте, а то все кушают, а мне нельзя. Очень скучно».

Мы знали, что помимо желания увидеть нас, он хотел полакомиться домашним пирогом, а Нину покормить яблоками, которые предназначались для диеты.

Доставка и поглощение пирога в разгрузочный день — мы не могли отказать папе в этом удовольствии — обставлялись всевозможными хитростями.

Он залезал в машину, воровато озирался, требовал чтобы мы» толпились вокруг него», а затем, покончив с пирогом, отправлялся на прогулку и громко жаловался на голод. А назавтра он звонил мне из кабинета врача и озабоченно сообщал: «Доченька, ты только не волнуйся, но врачи находят, что у меня нарушен обмен веществ. За вчерашний разгрузочный день я прибавил пятьсот граммов». Я так и видела его мальчишескую радость, что так здорово удалось» подвести медицину».

Однажды мы приехали к отцу в санаторий в Барвиху, где он отдыхал вместе с Литвиновым. Дело было все в том же сорок шестом году. Когда мы вошли в комнату, отец с Литвиновым сосредоточенно вычитывали что-то из газеты. Оба были так поглощены этим занятием, что даже не подняли головы поприветствовать нас.

Затем, уже на прогулке выяснилось, что они подсчитывали, сколько евреев выдвинуто в кандидаты на выборы в Моссовет. «Важна тенденция», — пояснил отец. «Тенденция» была ясна и так. Они понимали это лучше, чем кто-либо другой, и именно потому искали ее опровержения, так как принять ее означало для них согласиться с неизбежностью близкого конца.

Мои родители были в дружеских отношениях с Литвиновым, а во время пребывания Михоэлса в Англии Литвинов находился там как посол Советского Союза.

В сорок шестом году они снова встретились в санатории Барвиха, и в тот период особенно сблизились.

Литвинов был тогда уже в немилости у правительства и, как каждый в его положении, понимал, чем это чревато. Однако умер он в своей постели от тяжелого сердечного заболевания. Второго января пятьдесят второго года мы с Ниной приехали хоронить Литвинова на площадь Урицкого, рядом с Лубянкой, где помещался тогда МИД.

Посреди пустого холодного зала стоял гроб. Зимний тусклый

свет едва проникал сквозь заледеневшие стекла. Вдоль стены на стульях разместилась семья. Время от времени какой-нибудь храбрец возникал в дверях, пугливо озираясь, прощался с гробом и, даже не подойдя к семье, быстро удалялся. В основном это были женщины в кожаных» комиссарских» куртках — старые революционерки.

Однако изредка появлялись и деятели нового образца. Румяные молодые люди в костюмах и при галстуке — все на одно лицо.

Время тянулось. Шел уже первый час, а панихида, на-' значенная на десять, все не начиналась. Молодые люди в галстуках явно нервничали. Наконец выяснилось, что не могут начать панихиду из-за того, что» обыскали всю квартиру, но так и не нашли орден покойного». В Советском Союзе, не знаю как сейчас, но тогда было принято хоронить со всеми регалиями, которые имелись у покойного. Стали донимать вопросами Айви, жену Литвинова. «Откуда я знаю, где орден», — устало отвечала она, «наверно завалился за книжную полку».

Ситуация принимала все более абсурдный, затяжной и мучительный характер. Наконец мне пришло в голову предложить молодым людям съездить к нам за папиным орденом. Поехала Нина. Ее усадили в машину с затемненными стеклами и снабдили двумя» провожатыми». Когда они вернулись, один из розовощеких скомандовал: «Можно начинать». Управились с панихидой довольно быстро. Начали с того, что над открытым гробом бойко перечислили все провинности М. Литвинова, а закончили традиционным: «Спи спокойно, дорогой товарищ».

Затем отправились на кладбище. Впереди гроба несли папин орден. «Получите обратно в проходной Кремля», — буркнули мне.

Так вторично хоронили орден Михоэлса. А через год вторично хоронили его имя.

После возвращения из Барвихи отец окунулся в такое количество дел и забот, что мы его вообще не видели. Пребывание в санатории сказалось лишь на одном — папа вернулся еще более мнительным, чем уезжал. Любая царапина приводила его в ужас и никакие наши насмешки больше не смущали его.

В декабре сорок седьмого года он оступился и слегка поцарапал руку, Испугавшись столбняка, он потребовал, чтобы ему сделали укол. Сколько М. С. Вовси ни уговаривал его, отец настоял на своем, и ему сделали противостолбнячный укол.

Новый сорок восьмой год он встречал в доме М. А. Гринберга, директора музыкального отдела радиовещания СССР. Он не выпил тогда ни одной рюмки спиртного — это запрещалось при

противостолбнячной сыворотке. Кажется, именно в этом доме отец познакомился с Растроповичем, тогда еще неизвестным молодым виолончелистом. «Не следует так неуважительно разговаривать с этим молодым человеком, — отчитал он кого-то за праздничным столом. — Скоро вы все убедитесь, что перед вами гениальный музыкант».

Ростропович рассказал мне об этом эпизоде года через два — три после папиной гибели, в доме у Д. Д. Шостаковича. Не знаю, каким образом отец угадал в щуплом, близоруком мальчике будущего гения, во всяком случае, по рассказу Ростроповича, это произошло именно так. Это был, кстати, день рождения Д. Д., когда перед узким кругом друзей он впервые демонстрировал свой цикл еврейских песен, написанных им в сорок восьмом году, в самый разгул антисемитизма.

Тогда же на Новом году у Гринберга отец попросил, чтобы рядом с ним вместо водки поставили нарзан, но так, чтобы» никто об этом не знал, а он сам все отрегулирует».

С каждой новой рюмкой нарзана отец все сильнее и сильнее пьянел, а хозяин дома лишний раз убеждался в его исключительном мастерстве и актерском воображении.

Михоэлс всегда любил выпить, много курил, не жалея сил расходовал себя, где только можно. Когда же ему пеняли, что пить и курить вредно, он обычно отнекивался и говорил, что самое вредное — жить.

Почему же вдруг он стал так серьезно относиться к пустяковым царапинам, ведь обычно его мнительность распространялась только на нас. К своим же заболеваниям он относился скорее с нетерпением и раздражением, нежели со страхом.

Возможно, предчувствие нависшей над ним опасности мучило его, но я этого не понимала.

В конце сорок седьмого года произошло одно серьезное событие, которому тоже по недомыслию мы не придали должного значения.

В Москве, в зале Политехнического Музея отмечалась юбилейная дата» дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер — Сфорима.

Зал был набит до отказа. Со вступительным словом выступил Михоэлс, после чего они с Зускиным сыграли отрывок из» Путешествия Вениамина Третьего».

Свое выступление Михоэлс начал так: «Вениамин, отправившись на поиски земли обетованной, спрашивает встреченного по пути крестьянина: «Куды дорога на Эрец Исроэл?«И вот недавно, с трибуны Организации Объединенных

Наций, товарищ Громыко дал нам ответ на этот вопрос!»

Боже, что произошло с залом в ответ на этот неприкрытый призыв Михоэлса! Раздался буквально шквал рукоплесканий. Люди повскакали со своих мест, отец же стоял бледный, неподвижный, потрясенный такой реакцией зала. Овации длились, наверное, минут десять. Затем был показан фрагмент из» Вениамина».

Назавтра, за два дня до Нового сорок восьмого года, отец поехал на радио прослушать запись своего выступления.

Вернулся он встревоженный — запись оказалась размагниченной…

«Это плохой признак», — сказал он мне по — еврейски.

Меня удивило, зачем он вообще поехал на радио, ведь обычно его нельзя было даже заставить отредактировать стенограмму, присланную на дом.

Но отец знал, что это выступление ему даром не пройдет, и хотел лишь окончательно убедиться в своем предположении.

Видимо это была последняя капля, переполнившая» дело Михоэлса».

Через неделю он был командирован в Минск, откуда уже не вернулся.

«… НЕ ЗАВЕРШЕН ТВОЙ ГРИМ, НО ОН В ВЕКАХ ПРОСЛАВЛЕН»

Как могло случиться, что меня не мучили предчувствия, не преследовали страхи, не изводили по ночам кошмары? Ведь если бы тогда я что-то почувствовала, то, может быть, смогла бы его остановить, придумала бы что-нибудь, пошла бы на что угодно, лишь бы он не поехал в Минск!

Хотя, что могло удержать адскую машину, уже пущенную в ход? Не Минск, так Тбилиси или Ленинград. Так или иначе, он был уже обречен. В то время наши гороскопы составлялись не где-нибудь, а на Лубянке. А звездочеты были палачами. Моему отцу они предначертали смерть, а что предначертано, того, как известно, не избежать.

Итак, я попытаюсь упорядочить лихорадочный хаос тех страшных дней.

Вторник. Тринадцатое января.

Одиннадцать утра. Солнечно, ясно. Муж собрался куда-то, я провожаю его, на лестнице мы прощаемся, и я с удивлением замечаю, как мимо нас пробегает к себе наверх Зускин, почему-то не поздоровавшись.

Двенадцать часов. Я одна дома. Звонит телефон. Директор театра просит моего мужа срочно прийти. Я говорю, что его нет дома, и в ответ на свой естественный вопрос а в чем, собственно, дело?», слышу лишь невнятное бормотание: «да, нет, ничего, позвоним попозже, передай, чтобы он срочно зашел», и т.д. Меня это почему-то не настораживает.

Минут через пятнадцать, когда муж уже вернулся, снова звонок из театра.

— Просят, чтобы я зачем-то пришел, — сообщает мне муж самым ровным голосом и уходит.

Час дня. Снова телефон. С этого момента вся жизнь четко распадается на два отрезка — «до» и»после». Голос директора произносит слова, смысл которых не доходит в первое мгновение до сознания.

— Сейчас же приходи в театр. С папой случилось несчастье.

— Он… жив?

Мне страшно услышать ответ. Пауза.

— Нет…

* * *

Из ворот театра выезжает машина. В ней мелькает лицо Зускина.

В проходной от меня шарахается в сторону наша дежурная.

Не помню как поднимаюсь по лестнице и вхожу в кабинет. Из толпы актеров ко мне бросается жена Зускина Эда.

— Что с ним?

В ответ она прижимает меня к себе. В полной тишине звонит телефон. Кто-то приглушенным голосом отвечает:

— Это правда… Автомобильная катастрофа.

Откуда возникла эта версия, кто первый начал ее распространять?

Об этом мы узнали лишь спустя двадцать лет из книги Светланы Аллилуевой» Только один год». Вот что она пишет: «В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче, я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: «Ну, автомобильная катастрофа». Я отлично помню эту интонацию — это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это, автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной, и через некоторое время сказал: «в автомобильной катастрофе разбился Михоэлс». Но когда на следующий день я пришла на занятия в университет, то студентка, у которой отец долго работал в Еврейском театре, плача рассказывала, как злодейски был убит вчера Михоэлс, ехавший на машине. Газеты же сообщили об» автомобильной катастрофе»…

Он был убит и никакой катастрофы не было. «Автомобильная катастрофа» была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении… У меня стучало в голове. Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещится» сионизм» и заговоры. Нетрудно догадаться, почему ему докладывали об исполнении».

Что касается нас, то первое время мы даже не задумывались над тем, как это произошло. Мы знали только, что расстались на несколько дней, не ведая, что расстаемся навсегда.

… Страшно уходить из театра. Страшно возвращаться домой. Все происходящее пока что воспринимается мной как назойливый кошмарный сон, но я цепляюсь за него, смутно ощущая, что страшный сон обернется еще более страшной явью, когда мы переступим порог дома, в который он больше никогда уже не вернется.

Дома внизу нам открывает дверь Ася, Мы ничего не говорим друг другу. Из коридора слышу голос моей младшей сестры:

— Я все знаю!

Сестра занималась в Еврейской театральной студии. Когда там стало известно о случившемся, дирекция, опасаясь паники

среди студентов и преподавателей, решила отправить Нину из студии под каким-нибудь благовидным предлогом. Была сессия, ее вызвали прямо с экзамена, и впопыхах куда-то послали в сопровождении соучеников. По дороге она узнала правду.

… Мы стоим у окна, за которым воет вьюга.

Из передней доносятся рыдания. Начинает собираться народ. В комнату входит заплаканный Михаил Степанович Григорьев — профессор русской литературы. С ним рядом толпятся незнакомые нам люди. Оказывается, все они пришли с какой-то конференции, которая происходила в эти дни в ВТО. Шло заседание и вдруг по залу пронесся слух — умер Михоэлс. Заседание прервалось, и люди не сговариваясь потянулись к нам в дом. Потом многие рассказывали, что» сразу все поняли». Не знаю, не уверена. А если и» поняли», то не делились своими догадками, как утверждали впоследствии.

Мы же ничего не поняли. Нам было не до того.

Мы не поняли даже тогда, когда в нашу набитую людьми квартиру пришла вечером того же дня Юля Каганович, моя близкая подруга и родная племянница Лазаря Кагановича.

Она увела нас в ванную комнату — единственное место, где еще можно было уединиться, — и тихо сказала: — Дядя передал вам привет… и еще велел сказать, чтобы вы никогда никого ни о чем не спрашивали.

Таково было предостережение (или распоряжение?) единственного еврея — члена Политбюро Лазаря Кагановича. С чего это он вдруг решил о нас позаботиться? Ведь не пожалел он своего брата — отца Юли — Михаила Моисеевича Кагановича, бывшего наркома не то авиации, не то тяжелой промышленности — и отправил его в тюрьму на расстрел.

С Лазарем Кагановичем отец встретился впервые в тридцать шестом году, когда этому еврейскому вельможе вздумалось посетить наш театр.

Шла премьера спектакля» Разбойник Бойтро» Моше Кульбака.

Бойтро — беглого рекрута, грабившего на дорогах богатых евреев, чтобы раздавать награбленное добро беднякам — играл Зускин. Играл, покоряя, как всегда, зрителей своей лиричностью, пластикой и обаянием. Спектакль был решен в плане трагигротеска. Кагановича спектакль возмутил.

— Где вы видели таких кривых евреев? — бушевал он в антракте.

Его начальственному гневу мы так и не нашли тогда объяснения. Установившийся советский стандарт предусматривал четкую границу в изображении до- и послереволюционного периодов. Так, если действие в романе или на сцене протекало

при советской власти, то необходимым и обязательным условием было наличие» хэппи энда», при отсутствии какого бы то ни было конфликта. Героям следовало отличаться богатырским здоровьем и красотой пластмассового пупса. Если же действие происходило в» царской России», то тут допускалось большее разнообразие и не возбранялось даже показывать всевозможные бедствия, свойственные капиталистическому обществу, в том числе и» кривых евреев». Почетный гость предпочел, тем не менее, рассердиться, решив, по — видимому, что так для него будет безопаснее.

Михоэлс вернулся с премьеры домой подавленный. Он понимал, чем чревато недовольство высокого гостя.

Но тогда его час еще не настал.

Он настал позже, когда выстрадав все муки своего народа, задыхаясь вместе с ним в газовых камерах, погибая вместе с ним в восстаниях гетто и на фронтах войны — Михоэлс стал совестью советского еврейства.

Его зрители были его паствой. А он — страстный, активный, сострадающий — их пастырем. Но разве мог быть еще один пастырь?

Первая ночь. Зускин непрерывно куда-то дозванивается. (Сталину, как известно, не спалось, и вся государственная машина работала по ночам.) Наконец он сообщает:

— Нет. Они не разрешают.

Как только пришло страшное известие, Зускин поехал на аэродром за билетами в Минск. Порыв более чем естественный. У него затребовали паспорт (билеты на самолет продавались тогда по паспортам), и тут же отказали, кажется, без всяких объяснений. Ночью он продолжал дозваниваться во всевозможные инстанции и добиваться разрешения вылететь в Минск. Однако, так его и не пустили. И нас тоже.

Двое суток проходят как одна бесконечная ночь.

Телефон непрерывно звонит и кто-нибудь постоянно отвечает: «Кажется, автомобильная катастрофа».

Четырнадцатое января. Непрерывное мелькание заплаканных лиц. Многие приходят и остаются. Некоторые уходят и возвращаются.

Поздно ночью неожиданно появляется муж Асиной кузины академик Александр Евсеевич Брауштейн. Он находился в санатории в тридцати километрах от Москвы, когда услышал по радио: «Комитет по делам искусств, Комитет по Сталинским премиям, Антифашистский комитет, дирекция Еврейского Государственного театра, Министерство кинематографии СССР с прискорбием извещают о безвременной смерти руководителя

Государственного Еврейского театра Соломона Михайловича Михоэлса, которая произошла 13 января и выражают соболезнование семье покойного». Браунштейн не помнит как он оделся и вышел. Поезда не шли из-за сильных снежных заносов. Но это не остановило его и он отправился в Москву пешком. Вообще у Браунштейна было нарушение органов равновесия, и он не мог передвигаться в темноте. Но он пришел. Весь запорошенный, заледенелый, с трудом шевеля посиневшими от мороза губами, он только бесконечно повторяет:

— Что с ним случилось?

Время от времени то меня, то Нину вызывают к нам наверх, где самые близкие друзья встречают и провожают нескончаемый поток людей. Шостакович, между прочим, рассказывает, что седьмого января, в день папиного отъезда в Минск, вызвали в ЦК Прокофьева, Мясковского, его — Шостаковича, и еще несколько композиторов, и лично товарищ Жданов их сурово отчитал за» пессимизм», «формализм» и прочие вражеские выходки в музыке. Я вспоминаю, что уже на вокзале, седьмого, папе кто-то об этом рассказал и он мрачно откомментировал:

— Боюсь, им еще придется покукарекать.

И снова оказался прав. Постановление об опере» Великая дружба» Мурадели, которым началась кампания против» формализма в музыке», заставило многих крупнейших композиторов, в том числе и Шостаковича, умолкнуть на долгие годы. Они и в самом деле вынуждены были» покукарекать»…

… Наверху и внизу сменяются люди. А в его кабинете еще долго, как ни в чем не бывало, сохраняется жизнь и мучительно притягивает взгляд календарь со сделанной его рукой, а потом почему-то зачеркнутой записью о какой-то деловой встрече, назначенной на двадцатое января… На письменном столе, ни о чем не подозревая, лежит раскрытый» Князь» Маккиавелли — папа готовился к постановке» Реубени — князь иудейский» и, как всегда, тщательно изучал эпоху, прежде чем приступить к работе над спектаклем.

Идея смерти настолько не вяжется с Михоэлсом, настолько немыслима и абсурдна, что в общем настроении скорее преобладает смятение и растерянность. Горе придет вместе с осознанием случившегося, а пока еще невозможно поверить. Невозможно поверить… Моя подруга Флора Литвинова возится с нашей крошечной дочкой. Впервые я не знаю, чем ее покормили, кто ее уложил спать. Кто-то пытается нам что-то сунуть поесть. У меня, к стати, надолго атрофировалось обоняние и я совершенно не чувствовала вкус еды.

Мысль беспрерывно гвоздит один и тот же вопрос — успел ли

он понять, что умирает? И нестерпимо сознание его одиночества в последние минуты.

Ночь с четырнадцатого на пятнадцатое.

Из Минска приходит первая весть. Портье гостиницы, где они остановились, рассказал, что двенадцатого января, часов в десять вечера, Михоэлса вызвали к телефону. Было плохо слышно и разговор происходил достаточно громко. Портье запомнил имя, которое отец несколько раз упомянул: не то Сергей, не то Сергеев. Судя по всему, его куда-то вызывали. Закончив разговор, Михоэлс с Голубовым ушли из гостиницы. Спустя несколько часов они были убиты.

Кто мог быть этот Сергей? Сергеевых знакомых никто припомнить не мог. А Сергей? Был у нас знакомый — генерал Сергей Георгиевич Трофименко. Отец с Асей познакомились с ним во время войны в Ташкенте. После войны Трофименко был назначен начальником Белорусского военного округа и жил с семьей в Минске.

Стали звонить Трофименко. Его к телефону не позвали. Говорили с перепуганной взволнованной женой. Сквозь плач она пролепетала, что приедет шестнадцатого на похороны, но так и не приехала. Выяснить у нее так ничего и не удалось, хотя, по ее словам, папа у них в тот вечер и вообще за весь приезд ни разу не был, и Трофименко сам ему тоже не звонил.

Пятнадцатое января.

У нашего дома на Тверском бульваре выстроилась вереница машин. Нас сажают и везут на вокзал. На площади Белорусского вокзала противоестественная мертвая тишина. Движение перекрыто.

Наша машина медленно продвигается сквозь толпу. Выходим и идем на перрон. Десятки тысяч людей, собравшихся на площади, в глубоком, каком-то неправдоподобном молчании ждут поезда с папиным телом. Какая ошеломляющая страшная тишина…

Подходит поезд. И вдруг сквозь тишину чей-то пронзительный высокий голос:

— Гробы привезли!

Мы идем по перрону за двумя гробами, в одном из которых папа.

Его привозят в театр, но нас к нему почему-то не пускают. «Вам придется немножко подождать». Ждать? Чего? Мы не догадываемся, да и не спрашиваем, Нас отвозят домой и мы ждем.

Сколько? Не знаю.

В комнате внизу тесно и тихо. Кто-то шепотом произносит:

— Тысячи человек ждут, когда начнут пускать.

— Да, я когда проезжал, видел очередь от площади Маяковского через весь Тверской бульвар.

— Такой мороз, а люди не расходятся…

— А кто с ним поехал?

— Вовси, Зускин и Тышлер.

Тышлер так описывает эти дни: «А пятнадцатого января утром в морозный день мы встречали Михоэлса уже в гробу…

Больше вспоминать ничего не хочется. Добавлю только: я сопровождал его тело к профессору Збарскому, который положил последний грим на лицо Михоэлса, скрыв сильную ссадину на правом виске. Михоэлс лежал обнаженный, тело было чистым и неповрежденным».

Зускин, Вовси и Збарский, которые видели чистое неповрежденное тело Михоэлса после» автомобильной катастрофы», вскоре были арестованы.

Пятнадцатое января, пять часов вечера. В зимних сумерках, на крыше маленького дома напротив театра, старый еврей играет на скрипке Кол — Нидрэ.

Нас привезли в театр и одних провели в зал. Посреди зала стоял цинковый гроб. Отец лежал со сжатыми кулаками. Под правым глазом разлилась синева, Правая рука, в которой он обычно держал трость, сломана. Губы сжаты в горькой усмешке.

В ту же ночь Маркиш написал поэму, в которой впервые открыто назвал случившееся убийством:

Разбитое лицо колючий снег занес
От жадной тьмы укрыв бесчисленные шрамы
Но вытекли глаза двумя ручьями слез
В продавленной груди клокочет крик упрямый:
— О, Вечность! Я на твой поруганный порог Иду зарубленный, убитый, бездыханный. Следы злодейства я, как мой народ сберег, Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны.
Течет людской поток — и счета нет друзьям, Скорбящим о тебе на траурных поминах, Тебя почтить встают из рвов и смрадных ям Шесть миллионов жертв, запытанных, невинных.

Маркиш все понял и все сказал. Думаю, что эта поэма была впоследствии одной из самых грозных улик в его деле. Маркиша забрали в первую годовщину папиной гибели. 12 августа 1952 года он был расстрелян.

Начали пускать народ. Люди идут и идут. Непрерывно сменяется почетный караул актеров. Мужчины, не стесняясь, вытирают слезы.

Время остановилось.

Нас кто-то уводит за кулисы. Они переполнены актерами всех театров Москвы. Слышатся приглушенные рыдания. Тарханов целует нас и восклицает: «Звонкий был человек!»

Поток людей не прекращается. За сценой оркестранты играют отрывки из спектаклей. Невыносимо.

… Под этот струнный звон к созвездьям взвейся ввысь! Пусть череп царственный убийцей продырявлен, Пускай лицо твое разбито — не стыдись! Не завершен твой грим, но он в веках прославлен.

В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое театр не закрывали. Трудно сказать, какое количество людей так и не легли спать, чтобы простоять несколько часов на лютом морозе, попасть, наконец, в театр и попрощаться с гробом Михоэлса.

Тышлер, Фальк и Рабинович всю ночь напролет делали зарисовки — последние папины портреты. Маркиш написал поэму. Нас вдруг отвезли домой. Думаю, что по распоряжению Мирона Семеновича Вовси, который через пять лет был назван» убийцей в белом халате». Врач божьей милостью стал одним из главных обвиняемых в нашумевшем» деле врачей».

М. С. Вовси, как многие видные евреи, состоял в Президиуме Еврейского Антифашистского комитета. После разгрома Комитета и расстрела группы еврейских писателей и актеров 12 августа 1952 года, наверху было решено приняться за врачей. Не знаю, у кого впервые зародился гениальный план объединить процесс над писателями с» делом врачей» — у Сталина или его присных, связав оба этих» дела» с именем заблаговременно убитого Михоэлса.

Роль главного убийцы, который, по дьявольскому замыслу Джойнта, должен был руководить убийством Сталина, отводилась М. Вовси, занимавшему лишь за неделю до ареста, почетный пост Главного терапевта Красной армии.

В ночь на одиннадцатое ноября пятьдесят второго года к высокому дому в одном из переулков Арбата подъехало несколько машин и увезли на Лубянку крупнейших еврейских медиков.

Сообщение ТАСС об» убийцах в белых халатах» последовало лишь через два месяца, но подготовка к делу началась задолго до ареста главной группы.

Летом того же года прямо с улицы был взят профессор

Энгельгардт, тогда же арестовали профессора Левина, детского врача Шапиро, и многих других.

Мы жили тем летом рядом с Вовси на даче и часто виделись. При жизни папы они довольно редко встречались — оба были

слишком заняты. Если же Мирон Семенович собирался прийти, папа предупреждал его по телефону: «Мейерке, на бульваре скозняк, оденься потеплее». И тот непременно следовал совету старшего брата.

Тогда, на даче, у меня создалось впечатление, что аресты коллег Мирон Семенович как-то не увязывает со своей судьбой: дело привычное — всегда кого-нибудь сажают. Или же он просто обреченно ждал своего часа? Даже бдительное око А. Чаковского, ныне главного редактора» Литературной газеты», а тогда лишь начинающего подлеца, не уловило никаких признаков беспокойства со стороны знаменитого профессора. (Чаковский жил в даче напротив и был польщен таким соседством.) Поэтому, после сообщения ТАСС от 13 января 1953 года. он хоть и поторопился настрочить донос на своего бывшего соседа, но не нашел ничего интереснее, как сообщить о родстве Вовси с Михоэлсом. Вовси донос этот показали, и он охарактеризовал его как» неизобретательный».

Как я уже говорила, сообщение ТАСС последовало 13 января 1953 года — в пятую годовщину со дня папиной гибели. Если после ареста Зускина, ожидание нашей очереди стало для нас привычным, то теперь оно было желанным. Мы с Ниной устали от полного и вполне оправданного остракизма — кто мог себе позволить рисковать свободой, общаясь с нами? А те единицы, которые на это отваживались, были героями в буквальном смысле этого слова. Они боялись, как боялся всякий здравомыслящий человек, но не могли не приходить.

Тем временем мы мучительно ждали естественного завершения событий. Ночами мы с сестрой сидели в затемненной кухне. Настольную лампу приходилось завешивать платком, а то с улицы увидят свет и, чего доброго, обвинят что мы печатаем прокламации или доллары. По выскобленному деревянному полу по — хозяйски разгуливали огромные черные тараканы, постукивая твердыми копытцами и наполняя зловещим шорохом тишину ночи.

А наутро я отводила свою дочь в детский сад, со страхом проходя мимо газетного стенда. В поликлиниках больные отказывались идти к врачам — евреям. Уже поползли истории об отравленных младенцах. Население, подогреваемое ежедневными антисемитскими статьями, потихонечку распалялось. В воздухе пахло погромом. По слухам, процесс над врачами собирались устроить открытым. После чего, спасая еврейское население центральных городов от» справедливого народного гнева», спровоцированного процессом над врачами — убийцами, должны были вывезти всех евреев на Дальний Восток. Бараки уже

ожидали» спасаемых».

Мы на бараки не рассчитывали. Поехать всем вместе, хоть в» телятниках», было бы слишком большим счастьем. Мы ожидали худшего.

По ночам мы не раздевались. Это было» нерентабельно», как правильно заметила Надежда Мандельштам.

В детском саду мамаши меня открыто сторонились. Как-то раз одна из наиболее ретивых, заметив меня, стала громко рассказывать: «Говорят, хуже всех ведет себя Вовси. Ни в чем не признается, упирается…»

Как вели себя» там» никому известно не было и быть не могло. Следовательно, слухи об этом» они» сами и пускали.

Но с какой целью? Мы с Ниной гадали, понять не могли и от этого делалось еще страшнее.

Уже после реабилитации многие рассказывали, что без всякого сопротивления подписывали любую ересь, которую на них возводили.

—Убивал?

—Да, конечно.

—Отравлял?

—Еще бы.

—Кусался?

—Пожалуй и кусался…

Позже нам довелось прочесть стенограмму процесса над знаменитым профессором Плетневым, который обвинялся в убийстве Горького. Ему же предъявлялось весьма своеобразное обвинение, что он откусывал груди у своих пациенток. Свидетелями обвинения на процессе Плетнева были некоторые врачи привлеченные впоследствии по одному» делу» с Вовси. Они-то уже по опыту знали, что бессмысленно упираться. Не подпишут сами — за них подпишут.

Профессор Вовси не свидетельствовал в 1937 году в деле Плетнева, и возможно, поэтому упирался.

Четвертого апреля 1953 года рано утром нам позвонила дочь Вовси. Когда она сказала: «папа дома и просит, чтобы ты немедленно пришла», я решила, что она просто сошла с ума. Что могло быть естественнее в нашей противоестественной действительности? Однако, когда через полчаса постучалась в дверь соседка и с громкими рыданиями вручила нам газету, где сообщалось о реабилитации врачей, мы поняли, что что-то в самом деле происходит.

Вовси лежал на диване в разгромленной и еще не прибранной квартире. Выглядел он страшно, жаловался на боль в ногах. Говорил мало. Его речь, обычно несколько медлительная и

растянутая, стала непривычно отрывистой и резкой. Никаких подробностей, он, понятно, не касался, только вскользь упомянул о доносе Чаковского. Сказал еще, что о смерти Сталина не знал, так как все эти месяцы пробыл в одиночке. Я молча сидела возле него, боясь спугнуть это почти что видение. Поверить в правдоподобность происходящего было довольно сложно, ведь еще несколько часов тому назад врачи ждали суда, мы — ареста. Ни о какой реабилитации никто не помышлял. Удивительно, как, видно, закалила нашу психику здоровая обстановка светлых сталинских лет, если никто из известных мне отсидевших, вдов, сирот, репрессированных, реабилитированных и т.д. так и не сошел с ума.

По квартире, растерянная и заплаканная, слонялась жена Вовси, Вера, вернувшаяся вместе с ним. Ее взяли в день объявления в печати, а до этого у них буквально обрывали телефон добровольцы — головорезы, с угрозами и проклятиями в адрес всех жидов — врачей, во главе со» сволочью» Вовси. Постепенно, шепотом и боязливо, она стала рассказывать.

Девятого марта, то есть в день похорон Сталина, всех врачей и их жен начали по одному вызывать к следователю и объявляли им о скором освобождении. Вера сначала не поверила, а вернувшись в камеру решила, что у нее просто начались галлюцинации. Пять дней их не трогали, а четырнадцатого вызвали снова и предложили писать все, «как было на самом деле». Хотя бумага и ручка, предоставленные в их распоряжение — невиданная вещь для заключенного — казалось бы были вещественным доказательством каких-то перемен, но большинство мудро считали это очередной провокацией и не верили в обещанное освобождение. Опыт тридцать седьмого и прочих печально известных лет подсказывал, что когда сажают, то уже не освобождают, да еще с любезностями и расшаркиваниями, как это было сейчас. Правда, в начале тридцать девятого года освободили несколько сотен, а может, и десятков человек, но сделали это тихо, без шума, и больше не повторяли.

Писание» всего, как было на самом деле», ежедневные встречи со следователями, которые» по инструкции» вдруг стали необычно ласковыми и извинялись после каждого слова, — все это заняло три недели.

В ночь на четвертое апреля их вызвали всех вместе в большой кабинет на Лубянке, где они впервые увидели траурные ленты на портрете бывшего товарища Сталина. Высокий генеральский чин торжественно поздравил их с освобождением, тактично извинился за» причиненные беспокойства» — буквально так он и выразился! — и сообщил траурным голосом: «Мы должны вас

огорчить. Наша страна понесла тяжелую утрату — умер товарищ Сталин». На этом торжественная часть закончилась, и им предложили сесть в машины, чтобы доставить домой. Однако Вера заявила, что вернется только после того, как газеты напечатают опровержение сообщения ТАСС об» убийцах в белых халатах». Ее заверили, что» товарищи обо всем позаботились» и газеты уже оповещены.

Глубокой ночью, за несколько часов до выхода газет, к профессорскому дому в Серебряном переулке подъехало несколько машин, и преданная делу партии дворничиха, присутствовавшая в качестве понятой при обысках и арестах, увидела, как» преступники» направляются в свои квартиры. Нервы бедной дворничихи не выдержали натиска событий и, с криком» враги сбежали», она бросилась в отделение милиции.

В Кремлевку Вовси вернуться отказался. Там, по меткому определению москвичей, были» полы паркетные, врачи анкетные», то есть в пятом пункте — «национальность» — не значилось» еврей». Он вновь работал в Боткинской больнице, куда постепенно вернулись его ученики и ассистенты, арестованные или уволенные за время его заключения. Так же, как и прежде, он блестяще ставил самые сложные диагнозы, как и прежде, аудитории на его лекциях были набиты до отказа, работал он, как и прежде, в полную силу. Но в нем самом, обаятельном и невозмутимом, чувствовался надлом. Полгода в одиночке сделали свое дело: у него обнаружили саркому, возникшую, как считали, в результате побоев во время следствия. Били, главным образом, по ногам.

Вовси отказался от общего наркоза и сам руководил операцией. Ему ампутировали ногу, однако вскоре начались метастазы.

Он попросил перевезти себя в кабинет Боткинской больницы, где проработал около тридцати лет. Туда, в этот кабинет, до последних дней его жизни приходили к нему за помощью и советом и врачи и больные. Там же, в больнице, он и скончался в июне 1956 года, через два года после освобождения.

Мы с Ниной приехали в Серебряный переулок, где на лестнице уже толпились врачи всех возрастов и рангов. В квартире ближайшего друга Мирона Семеновича — профессора Темкина, находились только родственники. Вскрыли завещание. Вовси просил похоронить себя без всяких почестей и церемоний, как простого земского врача. На похоронах хотел, чтобы присутствовали только близкие друзья и семья.

Однако официальной панихиды с начальственными всхлипываниями: «Спи спокойно, дорогой товарищ» избежать не

удалось. Но, когда машина с гробом медленно двинулась по территории больницы, произошло нечто непредвиденное официальными инстанциями. Из всех корпусов высыпали больные и требовали остановить машину.

Те, кто был посильнее, вынесли гроб и процессия тронулась, подходя к каждому корпусу, где ждали больные, которые едва держались на ногах. И так до самых ворот больницы.

Мог ли предвидеть профессор Вовси, сидевший рядом с нами на» народной» панихиде своего брата, что и его похороны выльются в такое народное горе?

* * *

Отсутствовали мы, по — видимому, часа два. Вернувшись, мы застали театр таким же переполненным. Актеры сменялись в почетном карауле. Наступало утро, а кошмарный ' сон не кончался. Гора венков росла на глазах. Большинство попрощавшихся с Михоэлсом уже не уходили из театра, а оставались на гражданскую панихиду.

По сей день я не могу равнодушно читать стенограммы казенных выступлений официальных лиц с большим похоронным опытом, для которых панихида такое же общественное мероприятие, как встреча зарубежных гостей или чествование юбиляра. А Зускин, сам того не ведая, произнес тогда печально пророческие слова: «Страшная потеря, невозвратимая потеря. Но мы знаем, в какое время мы живем, в какой стране мы живем».

Нет, он еще не знал, в какой стране он живет.

После Михоэлса Зускин возглавил театр. Но ненадолго.

В декабре сорок восьмого года театр поехал на гастроли в Ленинград. Естественно, что Зускин, как руководитель театра и актер, занятый почти во всех спектаклях, не мог оставаться в Москве. Но, ко всеобщему удивлению, он наотрез отказался ехать. Через несколько дней после отъезда труппы, в один из тех тягостных зимних вечеров, когда зловещие предчувствия уже не растворялись в воздухе, а сгущались, образуя почти физически осязаемую материю, к нам забежал директор театра и сообщил, что к Зускину направляется целая делегация уговаривать его поехать в Ленинград. Немного посидев у нас и посетовав на капризы художественного руководителя, он поднялся наверх для переговоров. Через несколько минут раздался условный зускинский звонок, и совершенно бледный, но непривычно решительный Зускин вошел и потребовал, чтобы мы все оставили комнату, в которой находился телефон. Не прошло и двух минут, как он закончил свой таинственный разговор, вышел из комнаты и, не сказав никому ни слова, поднялся к себе. С этого момента в глазах его застыл ужас, по которому мы научились в то страшное

время узнавать обреченньгх. Как мы впоследствии поняли, с Зускина была взята подписка о невыезде, и телефонный разговор подтвердил приговор.

Прошло несколько дней, и Зускина положили в больницу лечить электросном от нервного истощения. Дома оставалась его двенадцатилетняя дочь с двумя одинокими старыми тетками, сестрами матери, как раз уехавшей на гастроли в Ленинград.

Утром двадцать восьмого декабря мы проснулись от стука в стенку. Прислушались. Мерное постукивание доносилось сверху. У меня все оборвалось внутри, но еще не верилось. Я продолжала напряженно вглядываться в потолок, когда часов в девять позвонили из театра и рассказали, что звонят все время к Зускину, но там не берут трубку. Послали администратора, а тот что-то не возвращается, и не можем ли мы посмотреть, что там у них происходит?

В этот момент с лестницы послышался шум, крик, лай собаки и, открыв дверь, мы увидели как по лестнице сверху вниз несется не держа, а прямо-таки держась за собаку, наш сосед со второго этажа. Упав в кресло и задыхаясь от волнения, он едва слышно прошептал: «Они». Это мы понимали и сами. Но что с Зусой? Ведь не может быть, чтобы его взяли больного, с кровати!

Да. Его забрали больного, спящего, ночью. Поволокли из больницы прямо на Лубянку. Как все это было, нам много лет спустя рассказал врач, который в ту ночь дежурил в больнице. Три года и восемь месяцев держали Зускина под следствием. 12 августа 1952 года он был расстрелян.

Человек наивный и трогательный, как ребенок, лучший актер, какого знала еврейская сцена, был убит в возрасте пятидесяти трех лет. За что? Таких вопросов там не задавали.

… Шестнадцатое января, четыре часа дня. Закончилась панихида. Зал пустеет и мы остаемся наедине с папой. Я глажу его разбитую поломанную руку, а до сознания все еще не доходит, что мы расстаемся навсегда.

Больше ничего я не помню. Ни как мы выходим из театра, ни похорон в крематории. Знаю только по рассказам, что старый еврей продолжал в двадцатиградусный мороз играть на крыше Кол — Нидре до самого конца панихиды.

За похоронной процессией ехало семь грузовиков с венками и бесконечное количество легковых машин. Официальными инстанциями не было предусмотрено, что похороны Михоэлса примут такие масштабы — толпы народа выстроились вдоль мостовой на всем протяжении от театра до крематория, и в итоге милиция вынуждена была дать непрерывный зеленый свет, чтобы процессия могла двигаться без остановок.

Почему перед отъездом в Минск Михоэлс заезжал прощаться ко многим друзьям и знакомым? Это было тем удивительнее, что привыкший к разъездам, бывая по пять — шесть месяцев на гастролях, он вообще не имел привычки прощаться.

На этот раз он поехал почему-то к академику Петру Капице, который рассказал мне об этом примерно полгода спустя. Я расспрашивала: не заметил ли он в поведении отца что-то необычное. Капица отвечал, что папа заскочил буквально на несколько минут, и единственное, что поразило его — это сам факт визита, ведь не так уж часто они встречались, чтобы прощаться на несколько дней.

Отправился он прощаться и с женой художника Исаака Рабиновича. В театре обошел все гримерные и пожал руку каждому актеру в отдельности.

Что все это значило? О чем он думал, оставаясь наедине со своими мыслями, предчувствовал он что-то, а может быть что-то знал?

После папиной гибели у нас установилась традиция встречаться тринадцатого числа каждого месяца. На одной из таких встреч Маркиш мне рассказал, что в последние месяцы жизни отец стал систематически получать анонимные письма с угрозами. Кроме Маркиша, он никому об этом, как — будто, не рассказывал. Всякий раз, когда отец отправлялся гулять с собакой, он звонил Маркишу и тот, по его словам, немедленно отправлялся к Аушкинской площади, так как боялся, что с ним может что-то случиться.

На этих встречах разговоры все, разумеется, вращались вокруг отца, причем говорилось о нем так, будто он где-то совсем рядом и вот — вот войдет в квартиру, и мы снова услышим его голос…

Чтобы меня не поняли неправильно, я хочу подчеркнуть, что в этом ощущении не было ни истерического обожествления, ни мистического экстаза, просто так силен был дух Михоэлса, что никакая физическая смерть не могла истребить его. Все мы — и семья, и друзья, и актеры постоянно ощущали его присутствие. То Зускин смешил нас своими рассказами об их совместных проделках и розыгрышах, то вспоминали его шутки, встречи в гастрольных поездках и на репетициях.

Увы, встречам нашим суждено было вскоре прекратиться. К концу первого года с момента убийства отца, всех участников наших вечеров, ставших уже традиционными, забрали.

Но обо всем этом мы еще и не подозревали, когда седьмого января сорок восьмого года спустились к папе вниз, где он отдавал последние распоряжения директору театра Фишману.

Быстро собрали маленький чемодан, присели на дорогу» на счастье» — есть такая примета в России — и отправились на Белорусский вокзал. Там уже находился московский театровед Голубов — Потапов, с которым папе предстояло поехать вместе в Минск и посетить ряд спектаклей, выдвинутых на Сталинскую премию — такова была официальная цель поездки.

О сталинском» искусстве» избавляться от людей много написано. На примере Мандельштама нам известно, что порой удобно избавляться тихо, вдали от шума и свидетелей. А если находился свидетель, то избавлялись и от него. Подобная участь постигла спутника отца.

Утром тринадцатого января Михоэлса нашли убитым в глухом тупике, куда не могла заехать ни одна машина.

Рядом с ним лежал убитый театровед Голубов — Потапов. Свидетель.

Девятнадцатого января к нам явились» двое в штатском». Они сообщили, что будто бы в Минске обнаружен Студебеккер, на колесах которого найдены волоски меха. Они хотели бы сравнить их с мехом на шубе Михоэлса. Инсценировка была грубая — шуба еще находилась в Минске, и они это знали лучше, чем кто бы то ни было. Там же оставались и другие вещи отца. Правда, имелись еще две точно такие шубы: одна принадлежала еврейскому поэту Ицику Феферу, другая — вождю всех народов Сталину.

Ицик Фефер сопровождал в сорок третьем году Михоэлса в его поездке по Англии, США, Канаде и Мексике. Целью их поездки — «правительственной миссии», — как называлась она в сводках Совинформбюро — было сплочение еврейской общественности этих стран для более деятельной и активной борьбы с фашизмом, а также сбор средств и медикаментов.

Выступления Михоэлса на собраниях и митингах, его страстные призывы к солидарности с миллионами борцов против фашизма не оставляли среди его слушателей равнодушных.

После одного из таких митингов Объединение меховщиков США решило сшить в подарок три шубы — Михоэлсу, Феферу и Сталину. Сталина отец никогда не видел, а шубу передал через Молотова. По воспоминаниям Светланы Аллилуевой, она хранилась где-то в музее, среди подарков вождя.

После возвращения из Америки Фефер был назначен заместителем председателя Еврейского Антифашистского комитета. Бессменным его председателем с момента возникновения Комитета был Михоэлс. Перед отъездом в Минск Михоэлс позвонил Феферу и передал ему на время своего отсутствия все полномочия, связанные с руководством Комитета… Я присутствовала при телефонном разговоре и

слышала, как папа сказал: «Прими все дела по Комитету, пока я буду в Минске».

Тем более велико было наше удивление, когда одиннадцатого января отец позвонил из Минска — это был его последний звонок — и рассказал, что утром видел Фефера в ресторане гостиницы за завтраком и, что самое поразительное, Фефер читал газету и сделал вид, что не заметил Михоэлса.

Почему он вдруг оказался в Минске? Почему он от всех это скрыл? Почему, когда несчастье уже случилось, он ни разу к нам не зашел? Почему из всех, кто говорил и писал о Михоэлсе в эти дни, Фефер единственный в своем выступлении на панихиде назвал папино убийство несчастным случаем, присоединившись, тем самым, к официальной газетной версии.

Девятнадцатого, когда пришли те двое, отрекомендовавшиеся» из угрозыска», мы позвонили Феферу и попросили заехать с шубой. До этого мы неоднократно звонили ему, но к телефону его не звали и отвечали что-то невразумительное. На этот раз он приехал, но» сотрудников угрозыска» уже не застал. Они ушли, пообещав вернуться, но так больше и не появились. Весь этот спектакль с» угрозыском» был организован, очевидно, чтобы создать видимость следствия вокруг» автомобильной катастрофы» и укрепить, таким образом, эту версию. Окончательно.

Фефер сидел понурившись в кресле отца и не смотрел в нашу сторону. Мы ждали от него подробного рассказа об их последней встрече в Минске. Но он молчал. И чем дольше продолжалось это тягостное молчание, тем яснее нам становилось, что спрашивать бесполезно. Не дождавшись возвращения посетителей из» угрозыска», он ушел. А у нас так и не повернулся язык спросить, почему он вдруг оказался в Минске.

В ноябре сорок восьмого года Фефер снова появился у нас. На этот раз в сопровождении двух неизвестных в традиционных фетровых шляпах с обвисшими полями. Одинаковые, как у близнецов, габардиновые плащи, выправка и специфическое выражение того, что даже не хотелось бы называть лицом, уже не оставляло никакого сомнения относительно ремесла сопровождающих лиц. Во всяком случае, ни о каком» угрозыске» речи уже не было.

—Дай мне всю папину заграничную корреспонденцию,— попросил Фефер.

—У меня ничего нет, — ответила я, а в голове мелькнуло: «Это еще не обыск».

Тогда они у нас ничего не взяли. Сразу после их ухода я поднялась к Зускину. Выслушав меня, он начал дозваниваться к

Феферу.

—Ничего страшного, просто во всем виноват» дер Алтер» — старик — так между собой они звали Михоэлса, — ответил Фефер загадочно.

Зускин повесил трубку и застыл в оцепенении.

Вскоре выяснилось, что в этот день проводилась» ревизия» Антифашистского Комитета, то есть начало его разгрома. Разогнать Антифашистский Комитет и приступить к массовым арестам деятелей еврейской культуры было бы невозможно при папиной жизни. Убийством Михоэлса Сталин обезглавил еврейское искусство и развязал себе для дальнейшего руки.

Фефера взяли первым. Как увязать его странное поведение с его арестом я по сей день не знаю и никогда не узнаю. Впрочем, это только одна из зловещих загадок, связанных с убийством Михоэлса.

Спустя несколько лет нам рассказали, что летом пятьдесят первого года в Москву приезжал на гастроли Поль Робсон. В своей поездке по Америке Михоэлс и Фефер неоднократно с ним встречались. И теперь Робсон выразил желание вновь повидать своих» советских друзей» Ему ответили, что Михоэлс умер от воспаления легких, а Фефера — пожалуйста — можете повидать.

Приехали к Феферу на квартиру, достали из опечатанной комнаты выходной костюм, и поехали за Фефером на Лубянку. Там сменили ему арестантский наряд на выходную пару и прямо из тюрьмы привезли в гостиницу» Москва» в сопровождении двух» переводчиков». Рассказывали, будто во время встречи он прятал руки, так как в тюрьме у него вырвали ногти.

Фефера расстреляли 12 августа 1952 года.

Примерно в середине марта 1948 года мне позвонила Ася и попросила немедленно зайти. У меня сидела подруга и мы спустились вместе.

Посреди комнаты над закрытым чемоданом неподвижно стояла Ася.

— Только что позвонили в дверь и принесли.

Мы перетащили чемодан на кресло и открыли его, подавляя дрожь.

Поверх вещей лежала бумага, не бланк, а просто желтовато — серая бумага. От руки неумелым почерком первоклассника было написано: «Список вещей, найденного у УБИТОГО Михоэлса».

Какой-то незадачливый милиционер сунул этот листок в предназначавшийся для передачи нам чемодан, а халатные сотрудники забыли проверить.

— Вот они и проболтались, — сказала моя подруга. Они сами открыли нам непроизносимое слово. Но

кому могли мы об этом рассказать? Ведь уже сам факт, что мы знаем, таил в себе опасность. Да и что с того, что мы знаем? Разве это может его вернуть? Или мы можем отомстить? Мы бесправные, немые парии, о какой мести могли мы помышлять?

«Странно только, — пишет Надежда Мандельштам», — что все это делали люди, самые обыкновенные люди: «такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп, такие же судьи, как вы…» как это объяснить, как это понять? **И** еще один вопрос: зачем?..»

Зачем?..

Начали вынимать вещи из чемодана. Сверху лежала шуба. На меховом воротнике сзади остался след запекшейся крови. Такой же след на шарфе. Палка сломана. Часы, стрелки остановились в без двадцати девять.

—Значит, утра, — почти беззвучно сказала Ася.

Мы кивнули — ведь вечером он еще в десять был в гостинице.

Костюм. На дне чемодана сложено содержимое карманов. «У Михи не карманы, а письменный стол», — говорил Саша Тышлер. Ручки, зажигалки, записные книжки, деньги, какие-то бумажки, трамвайный билетик и, наконец, «талисманы».

С самого раннего детства, сколько я себя помню, папа, суеверный, как все актеры, просил у меня перед отъездом на гастроли какую-нибудь игрушку» на счастье», «талисман». Так я и думала в детстве, что талисман это маленькая игрушка. За многие годы у него набралась целая коллекция» талисманов». Одну за другой мы вытаскиваем из чемодана крохотную куколку, игрушечный маленький автомобиль, с приставшим к нему табаком, какие-то стеклянные шарики и, наконец, резинового негритенка — последний подарок моей двухлетней дочки.

В полном молчании извлекаем из боковых карманов костюма документы и наши семейные фотографии. Среди документов» Командировочное удостоверение, выданное гражданину Михоэлсу, Соломону Михайловичу с 8–го по 20–е января 1948 года». Паспорта мы не находим. Тут только мы обращаем внимание на то, что свидетельство о смерти выписано на фамилию Михоэлс (а в СССР свидетельство о смерти выдается только на основании паспорта), в то время как по паспорту папа Михоэлс — Вовси. Следовательно, свидетельство о смерти было оформлено на основании командировочного удостоверения, выданного на фамилию Михоэлс, а паспорт поторопились отвезти куда следует, в качестве доказательства, что» операция» выполнена.

* * *

По еврейскому обычаю театр не играл семь суток. На восьмой

вечер шел спектакль» Леса шумят» — последняя постановка Михоэлса. Все билеты были проданы, кроме тринадцатого места в шестом ряду. Это было постоянное режиссерское кресло Михоэлса. По своему суеверию, он всегда боялся числа» тринадцать», но число это странным образом преследовало его всю жизнь. Поэтому, если начало какой-нибудь новой работы совпадало с тринадцатым числом, то он делал все, чтобы перенести его на другой день. Он так страшился этой цифры, что постоянно подсчитывал номера проезжавших мимо машин.

'Все время попадается тринадцать»,— жаловался он и, решив однажды бросить вызов судьбе, выбрал себе кресло номер» тринадцать». Однако судьба не приняла его вызов и, задумав с ним расправиться, выбрала для этого тринадцатое число.

Перед началом спектакля на авансцену вышел исполнитель главной роли В. Шварцер и произнес: «Сегодня мы впервые открываем занавес без нашего руководителя, дорогого Соломона Михайловича Михоэлса. Прошу почтить его память вставанием». В зале послышались всхлипывания. Кажется, спектакль так и не доиграли до конца — *V* кого-то из актеров стало плохо с сердцем.

В антракте мы зашли в гримерную отца. Над зеркалом как ни в чем не бывало горели светильники, освещая столик и папину коробку с гримом, так и оставшуюся открытой.

Первое время мы почти безвыходно сидели дома. Дома нам все казалось, что мы как-то ближе к нему и что вот — вот откроется дверь, он просунет голову и, посмеиваясь, спросит: «Ну, что я сегодня разбил?«У нас вечно билась посуда, и, зная что папе не влетит за разбитые чашки, тарелки и вазы, мы коварно сваливали вину на него, а потом со всех ног летели в театр предупреждать, и он охотно включался в игру.

А теперь у дверей лежала в ожидании хозяина собака, категорически не желавшая выходить на прогулку, чтобы не пропустить его возвращения.

* * *

Был у отца обычай приносить нам семнадцатого марта, в свой день рождения, букетики подснежников. Он выгребал их совершенно измятыми из карманов шубы, с приставшим табаком и бумажками от конфет и с торже ственной улыбкой вручал по букету Асе, сестре и мне А в карманы он засовывал цветы» чтобы не замерзли

В его характере причудливо сочеталось полное без различие к быту и отсутствие семейных навыков с каким то суеверным

трепетом перед выработанными им самим семейными традициями. В нашей безалаберной жизни не было никаких признаков организованного быта ни семейных походов к родственникам, ни планомерного обзаведения имуществом — сервизами, комодами и буфетами,— но, вместе с тем, сколько я себя помню, с само го детства у нас строжайшим образом соблюдалась традиция, заведенная самим папой — обедать всем вместе И как бы он ни был занят, и какие бы заботы ни были у нас самих, даже тогда, когда я уже вышла замуж, мы верные этому патриархальному обычаю, всегда обедали вместе с папой, хотя я не помню случая, чтобы обед этот состоялся в назначенное время и чаще его можно было назвать ужином.

В этот день, 17 марта 1948 года, первый без папы день его рождения, я решила купить на Пушкинской площади подснежники для Аси и Нины. На Тверском бульваре я встретила Зускина. Он был не один и сделал мне знак чтобы я подождала его.

— Слушай, я только что говорил с Шейниным. Он собирается ехать в Минск по следам» дела Михоэлса».

Шейнин, начальник следственного отдела МВД, завоевал популярность как автор многочисленных детективных романов. Как могло прийти в голову этому опытному и достаточно искушенному человеку заняться таким опасным делом? Это осталось для нас загадкой. Вскоре Шейнин действительно отправился в Минск. По возвращении он был уволен с работы и вскоре арестован. Ему дали десять лет, но он вышел года через два после смерти Сталина, отсидев, таким образом, лет пять — шесть. С момента его освобождения и до самой его смерти мы с сестрой искали встречи с ним. Но Шейнин этой встречи всячески избегал.

Однажды летом к нам на дачу забежала моя приятельница, которая жила по соседству и сказала, что к ним приехал погостить Шейнин. Я немедленно отправилась к ним, но Шейнина уже и след простыл. Муж моей приятельницы признался, что пока его жена бегала за мной, он простодушно рассказал своему гостю, что здесь, на соседней даче живет семья Михоэлса и ему, Шейнину, будет вероятно интересно познакомиться с нами. В ответ на это Шейнин вдруг заторопился, и, сказав что заехал только на минутку, сел в машину и, не задерживаясь, уехал.

Что ему было известно? Что ему удалось выяснить в Минске? Об этом он так никому и не рассказал. Впрочем, со слов человека, встретившего Шейнина в лагере и однажды разговорившегося с ним, Шейнину, якобы, удалось выяснить, что убийцы сначала

предлагали Михоэлсу сотрудничать с» органами». И получив решительный отказ, принялись жестоко избивать его. Но достоверность этого рассказа ничем не проверена, а с Шейниным нам, повторяю, так встретиться и не удалось.

Да и не только Шейнину преподал Архипелаг ГУЛаг урок, который раз и навсегда отбил охоту возвращаться к» делу Михоэлса». Однажды летом шестьдесят шестого года я приехала на пару дней с дачи и обнаружила в дверях записку от сына Маркиша с просьбой позвонить.

— Тебя разыскивает одна женщина. Телефона у нее нет, вот ее адрес, поезжай прямо к ней.

По его тону я поняла, что не стоит задавать никаких вопросов, и мы с дочерью тотчас же поехали. Такси долго кружило по московским окраинам, где дома располагаются по таинственному, но установившемуся на всех новостройках принципу, когда за блоком номер двадцать два следует, скажем, блок номер сто пятьдесят семь Наконец, нужный дом был найден. Нам открыла молодая, болезненного вида женщина, назвавшаяся Сусанной.

— Я давно хотела с вами познакомиться. Извините только, что я лежу, у меня что-то с сердцем, — сказала она, ложась на диван и укрываясь пледом.

Мы уселись возле нее, и Сусанна начала свой рассказ

Ее забрали в сорок восьмом году, еще совсем молоденькой девушкой. Получила она десять лет лагерей строгого режима без права переписки. Сусанну направили на корчевку леса куда-то на Дальний Север. Примерно в марте сорок восьмого года к ним в лагерь попала одна девушка из Минска. Лиза С, так звали девушку оказалась соседкой Сусанны по нарам. Вместе выходили они на работу, вместе возвращались »домой» в зону. На обычные лагерные расспросы: сколько получила, по какой статье осуждена, Лиза лишь немногословно отвечала, что по статье 58–10 за анекдоты. Но однажды ночью, когда все спали, Лиза шепотом, на ухо поведала Сусанне свою историю.

Она была студенткой педагогического техникума в Минске. Однажды она возвращалась домой откуда-то с вечеринки. Было холодно и поздно. Проходя по переулку в котором находился театр, она обратила внимание на двух людей, выходивших из освещенных дверей театра В ту же минуту послышался звук мотора и грузовик с выключенными фарами устремился из-за угла на две заметавшиеся фигуры. Лиза оцепенела от ужаса. Глаза отказывались верить увиденному. Двое бросились на противоположную сторону улицы, грузовик рванул за ними. Они метнулись обратно к театру, но машина загнала их к стене дома.

Они прижались к ней, и грузовик несколько раз их ударил. Они сползли на землю, свалились, в это время из грузовика выскочили какие-то люди, но Лиза больше ничего не видела. Она бросилась в ближайшее отделение милиции и сообщила дежурному милиционеру обо всем, что произошло на ее глазах. Ее почему-то задержали. Продержали три дня в милиции, а затем вызвали к следователю, который, записав еще раз все ее данные, внезапно, без всякого предисловия, резко спросил:

— На каком основании вы, гражданка С. утверждаете, что Михоэлс и Голубов стали жертвами преднамеренного убийства?

Лиза не поняла. Имя Михоэлса ей было известно, но о его смерти она услышала впервые. Все ее заверения, что она ничего подобного не утверждала, утверждать не могла и понятия не имела, кого преследовал грузовик, конечно, не помогли. Она получила десять лет строгого режима за» клеветнические измышления» об убийстве Михоэлса.

Таков был рассказ Сусанны. Наши попытки в дальнейшем встретиться с Лизой С. ни к чему не привели. Она так же, как и Шейнин, избегала знакомства с нами.

И еще одна деталь: недавно в Израиль приехала дочь генерала Трофименко, того самого, с которым Михоэлс познакомился в Ташкенте и который был командующим Белорусским военным округом в 1948 году во время убийства отца. Она мне рассказала со слов своей мачехи, жены Трофименко, что в тот роковой вечер отец был действительно приглашен к генералу. Трофименко выслал за ним свою машину с шофером, но в гостинице страшно удивились и сообщили, что машина генералаТрофименко уже забрала Михоэлса и Голубова.

— Когда?

— Да с полчаса назад.

Так, спустя тридцать два года после убийства, нам открылось еще одно звено в сложной цепи злодейской инсценировки.

И в тысячный раз перебирая в уме те крохи сведений, которые удалось собрать за эти годы, я мучаюсь теми же вопросами и боюсь верить собственным догадкам.

Почему папа вечно окруженный толпой друзей, почитателей, знакомых вышел из театра один, в сопровождении одного лишь Голубова? Значит ли это, что они там никого не застали? Но ведь кто-то должен был быть там, кто знал Михоэлса в лицо и дал сигнал машине? Кто же он?

Как вообще он оказался в театре в такой поздний час? Может ли быть, что этот, назвавшийся Сергеем или Сергеевым, вызвал их из гостиницы, чтобы задержать у себя до поздней ночи, а затем, под каким-нибудь предлогом отправить в театр? И опять — кто из

знавших папу, находился в театре? Почему же все-таки его не изолировали в тот вечер от Голубова? Был ли он случайной или предусмотренной жертвой в кровавом плане? Успел ли папа понять, что умирает?

Проходят годы, а туман не рассеивается. Путаясь в версиях и догадках, я пытаюсь пробиться сквозь их дебри к истине, которая с годами уходит все дальше и дальше, чтобы навеки остаться тайной…

Из Лондона

15 января 1948 года

ЕВРЕЙСКОМУ АНТИФАШИСТСКОМУ КОМИТЕТУ УЛИЦА КРОПОТКИНА, МОСКВА

Глубоко потрясены трагическим известием о смерти профессора Соломона Михоэлса. Просим принять самое искреннее соболезнование Всемирного Еврейского Конгресса. При посещении им Лондона в 1943 году его личность оставила у нас глубокое впечатление. Его безвременная смерть — непоправимая утрата не только для советского еврейства, но и для евреев всего мира.

Леди Ридинг, Сильверман, Барух, Истерман, Зельманович

Из Нью — Йорка 15 января 1948 года

СССР, ЕВРЕЙСКОМУ АНТИФАШИСТСКОМУ КОМИТЕТУ КРОПОТКИНСКАЯ, 10, МОСКВА

Вашему Комитету и Еврейскому театру выражаю свои чувства скорби и боли по поводу постигшего нас несчастья — смерти нашего дорогого друга Михоэлса. Он был самой блестящей фигурой в нашем еврейском искусстве.

Преданный Вам

Марк Шагал

Из Нью — Йорка

15 января 1948 года

ЕВРЕЙСКОМУ АНТИФАШИСТСКОМУ КОМИТЕТУ В СССР

КРОПОТКИНСКАЯ, 10, МОСКВА

Нет слов, чтобы выразить, как глубоко мы потрясены трагическим сообщением о смерти Михоэлса, этой невозместимой утратой, понесенной делом антифашистской борьбы и театром. Мы всегда будем чтить его память, как вдохновителя еврейского антифашистского единства Передайте наше сочувствие семье Михоэлса.

Альберт Эйнштейн, Шолом Аш, Б. Ц. Гольдберг, Иосиф Брайнин. Джек Гринбаум, М. Унгер, П. Новик, Леон Кусман, Б. Лапин, А. Абрамович, Валя Гирш, Нахман Майзель, С. Алмазов, Американский Комитет еврейских писателей, художников и ученых.

notes

Примечания

1 ВТО — Всероссийское Театральное Общество.]

2 Передонов — персонаж романа Ф. Сологуба» Мелкий бес», ставший именем нарицательным.

comments

Комментарии

1 Винавер — юрист, работник Красного креста.]